



НАРОДНАЯ БИБЛИОТЕКА **НБ**

ЛЕСЬ МАРТОВИЧ

ПОДАРОК СТРИБОГА

НАРОДНАЯ БИБЛИОТЕКА

ЛЕСЬ МАРТОВИЧ

ПОДАРОК СТРИБОГА

РАССКАЗЫ

Перевод с украинского



Издательство
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
Москва 1971

С(Укр) 1
М 29

Вступительная статья
Ф е л и к с а К р и в и н а

Художник
И. В. Ц а р е в и ч

7-3-3
1971

Одним из самых человеческих чувств является чувство юмора. Если бы у зайца нашлось хоть немного этого чувства, чтобы посмеяться над волком, — кто знает, может, и он стал бы со временем человеком. Но заяц серьезен, он воспринимает волка только всерьез. И волк серьезен — он всерьез воспринимает маленького длинноухого зайца. Поэтому они никогда не станут людьми, и из всех наук представляют интерес только для зоологии.

«Если бы профессор зоологии хотел описать короткими, но сочными словами отца Тришина...»¹ Отец Тришин — не зверь, он человек, герой популярной повести «Суеверие». Но автор повести Лесь Мартович, которому лучше знать своего героя, считает, что проходить он должен не по ведомству теологии, как требует его духовный сан, а по ведомству зоологии, как требует его сущность.

Конечно, это шутка. Если бы человечество так легко могло избавляться от своих нечеловеческих представителей, отправляя их в зоологию, то у человечества давно уже не было бы никаких проблем. Но у человечества есть проблемы, и многие из них невозможно решить всерьез, если к ним относиться без юмора.

Юмор гуманен: «Когда человек смеется, он зла не сделает» (Паустовский).

Юмор правдив: «Смешного бояться — правды не любить» (Тургенев).

Юмор всесилен: «Что стало смешным, не может быть опасным» (Вольтер).

В жизни без юмора трудно обойтись. Когда человека покинут его переменчивые друзья: Успех, Богатство, Благополучие, — лишь один, самый верный друг протянет ему руку — Юмор.

Правда, человек сплошь и рядом предпочитает надежных друзей и стремится достичь таких вершин, на которые редко поднимается Юмор. Юмор остается внизу и с грустной улыбкой провожает человека на вершину Успеха, чтобы встретить его на обратном пути:

— Ну вот, человек, вершины все позади. А теперь давай посмеемся.

¹ Все цитаты в статье даются в переводе Ф. Кривина. — *Ред.*

Давай посмеемся, Юмор, так хорошо смеяться внизу! Среди всех этих вершин — Зазнайства, Чванства и Высокомерия — смех гремит особенно громко, усиливается тысячекратным эхом и сотрясает, потрясает и сокрушает вершины. Давай посмеемся, Юмор...

2

На карте Юмора, в стороне от больших городов и столиц,— Лиона (Рабле), Миргорода (Гоголь), Одессы (Ильф и Петров),— лежит маленький, но очень важный пункт — Коломыя. Здесь жил Лесь Мартович, здесь он учился в гимназии, здесь начал свой литературный путь и отсюда, из этой гимназии, был исключен за попытку связать литературу с политикой.

Гимназический тайный кружок, в котором активно работали будущие писатели Лесь Мартович и Василь Стефаник, имел в своем распоряжении солидную библиотеку. «Там,— вспоминает Стефаник,— было почти все из тогдашней украинской литературы. Особенно зачитывались произведениями Франко, социалистической литературой, украинской и польской из Женевы, Герценом, Чернышевским, вообще всем, что было запрещено». Здесь же, в гимназии, Мартович и Стефаник перевели начало «Анти-Дюринга» Энгельса.

Все это была работа, не предусмотренная учебной программой гимназии, а главное — не предусмотренная австро-венгерским полицейским режимом. Но для писателя нет иного пути, и только на этом пути создается настоящая литература. Не литература Кукольника, а литература Гоголя. Не литература Булгарина и Каткова, а литература Грибоедова и Щедрина.

Гоголь, Франко, Шевченко, Щедрин, украинские и русские писатели-демократы — вот кто был истинными учителями Леся Мартовича в гимназии, вот с кем приходилось конкурировать его гимназическим учителям. И не выдержав конкуренции, они исключили из гимназии Мартовича, а через год и Стефаника, который отправился за своим другом в Дрогобычскую гимназию, чтобы там продолжить столь удачно начатую учебу — тоже в тайном кружке.

«Лесь Мартович — мой детский смех...— вспоминает Василь Стефаник.— Не могу забыть того счастья, которое нам давал Лесь Мартович своими гениально-злыми рассказами». По природе своей юморист, Лесь Марто-

вич был веселым человеком. Таким его воспитал отец, сельский писарь, который много бедовал, но никогда не грустил и всегда верил в лучшее. С этой верой он отдал сына в гимназию, надеясь, что сын выйдет из нее большим человеком. И Лесь Мартович оправдал надежды отца. Он стал большим человеком — не в том смысле большим человеком, в каком стал герой его рассказа «Народная одежда», который перешел «с той веры, что дает, в ту веру, что берет», — в этом смысле больших людей мы встречали и встречаем немало. Лесь Мартович остался в своей мужицкой вере, в той вере, что дает, но научился давать так, чтобы обогащать не хозяев земли, а все подчиненное им человечество, чтобы человечество из бесправного раба стало на земле полновластным хозяином.

Веселый человек Лесь Мартович писал свои «гениально-злые» рассказы, рассказы смешные, хотя и далеко не веселые. Потому что жил веселый человек в невеселых обстоятельствах, и был он не просто писарем, как его отец, а писателем, то есть человеком, который ни к чему не может быть равнодушным. Конечно, его гениально-злые рассказы могли бы быть гениально-добрыми (и были такими по глубокой сути своей), но юмор, веселый и добрый жанр, становится сатирой в невеселых и злых обстоятельствах, и нужно винить обстоятельства, мешающие ему проявить доброту.

На карте Юмора, среди больших городов и столиц, есть немало местечек и сел, связанных с именем Лесь Мартовича. В одном он родился (село Торговица-Пильна), в других учился, работал (работал он в маленьких захолустных селах, которых и на обычной карте не найдешь), а в селе Монастырек осталась его могила.

3

Он родился сто лет назад, когда земля его, Западная Украина, находилась под тройным гнетом — своих панов, панской Польши и Австро-Венгерской империи. Надо всем возвышалась империя, под ней была подчиненная ей Польша, еще ниже — украинские «господари», служившие двум господам, а в самом низу — мужицкий украинский люд, из которого вышел Лесь Мартович. Таким образом, трудная жизнь была обеспечена ему по рождению, и он прожил ее, не пытаясь ее облегчить. Об-

легчать себе жизнь — занятие не для писателя, и те, кто об этом забывает, остаются за пределами литературы.

Лесь Мартович прожил трудную жизнь. Крестьянское детство, учеба в гимназии, которая не могла простить ему его мужицкого происхождения («В навозе место мужику, а не в школе!»), и работа, работа — ради хлеба насущного, ради бесправной своей земли и такой же бесправной литературы. Без денег, без крова, без семьи. Еще нет собрания сочинений, еще нет учебников, по которым будут его изучать, еще не размножены его портреты, еще не приклеены к его имени эпитеты «известный», «талантливый», «выдающийся», — слава еще не пришла и при жизни она не придет. А при жизни что? При жизни — заброшенное, забытое всеми село, Снятин или Щирец, Куты или Грабовка, поиски заработка, борьба с нуждой и борьба за тех, кто терпит нужду, — в этом его призвание литератора смыкалось с его профессией адвоката. Собственно, профессии еще не было, хотя работа уже была. Из-за постоянных мытарств, нужды и болезней Мартович оказался «вечным студентом» и лишь через семнадцать лет закончил образование, когда для работы уже не осталось сил.

Впрочем, его образование проходило за пределами университета. Оно проходило в сельских судах и адвокатских конторах, где он защищал бесправного мужика, оно проходило среди писателей-единомышленников, с которыми он встречался, бывая во Львове. Львов был центром польско-австро-венгерской — и все же украинской Украины. Львов был центром литературы. Здесь был Иван Франко.

«Мартович, — писал Франко, — прежде всего, прекрасный знаток и изобразитель крестьянской жизни, причем его новеллы отличаются большим юмором. Иронию судьбы, господствующей над человеком, его сознательные и несознательные поступки он умеет передать в совершенно новом освещении — так, как никто не смог передать в нашей литературе».

Иронию судьбы Лесь Мартович испытал на себе, и, может быть, как раз у судьбы он научился иронии, столь необходимой писателю-юмористу. Настоящей иронии можно научиться лишь у судьбы... Чтобы ответить ей — иронией на иронию.

Трудно находить смешное в тяжелой, беспросветной крестьянской жизни, но для того чтобы жить, нужно находить смешное.

Ну разве не смешно: отец посылает своего сына-школьника пасти корову, а вместо него, чтобы не пропустить занятия, отправляет в школу младшего, трехлетнего сына. Учитель сердится, и отец этого не может понять: ведь сидеть в школе — не то, что корову пасти, там может посидеть и младший, Андрийко (Рассказ «Нечитайник»).

Ну разве не смешно: муж обращается к жене за советом, а жена... Жена не знает, что и думать по поводу этого чуда. Правда, они и прежде советовались, но только по праздникам, да и то по мелким хозяйским делам. «А тут вдруг — разговор с мужем! И не праздник, и муж не пьян, а ты бери и разговаривай с ним, как с кумом на крестинах!» (Рассказ «Вот посюда мое»).

Все это смешно, но в основе этого юмора грусть, глубокое понимание темного, забитого мужика, не издевка над ним, а сочувствие. Юмор-сочувствие был всегда свойствен писателям демократического направления, тот смех, в глубине которого, по словам Гоголя, скрыты горячие искры вечной могучей любви.

Юмор Леся Мартовича добр, когда он пишет о людях добрых, пусть даже темных и неграмотных. Посмеяться — это не значит высмеять, иногда это значит ободрить человека. Слабому нужно посмеяться над собой, тогда он становится сильным. «Любил Варвару так, как любит зайчик свою жизнь, когда он удирает от лисицы» («Суеверие»). Вы думаете, это слабая любовь? Вы думаете, зайчик недостаточно любит жизнь? Ого, он любит ее больше других, потому что она у него всегда под угрозой.

Таким зайцем, постоянно убегающим от лисиц, был на селе пастух Петро Коваленко (рассказ «Войт»). Петро Коваленко был самый бедный человек на селе, поэтому он привык всех бояться. Он боялся каждой бабы, каждого ребенка — о панах и жандармах нечего и говорить. И вдруг этого самого последнего бедняка избрали войтом — первым на селе человеком. Произошло это потому, что прежним войтам надоело платить штрафы, и они решили поставить на эту должность человека, ко-

того невозможно оштрафовать, потому что он ничего не имеет.

Петро Коваленко и теперь всех боялся, но теперь он боялся не за себя, а за все общество и защищался за все общество, постоянно вступая в стычки с панами. И даже если кто из панов хотел подойти к нему с добрым словом, он не верил и делал все наперекор. Так самоотверженно служил Петро Коваленко обществу.

Конечно, власти этого не могли потерпеть и в конце концов сместили Петра Коваленко. Вернулся он опять к своему стаду, и можно было слышать, как он кричит на провинившегося телка: «Ты, глупый телок, меня не слушаешься? Да я самому обществу служил! Я, бедный, неученый пастух, стоял за целое общество! А кабы я был грамотный?.. Да от меня бы эти паны удирали, как телята с посевов!»

5

А вот это уже не смешно: умирает мужик, еле бьется в нем слабенький пульс надежды. Но надежда — это самообман, говорит мужику жена, и нечего себя обманывать, когда ты уже почти труп, когда от тебя трупом пахнет. Так говорит мужику жена не потому, что она плохая жена, а потому что трудная жизнь не научила ее словам утешения. Да и какое может быть утешение в этой мужицкой доле? Разве что такое, какое находит сосед Дмитро. (Сосед Дмитро вышел из дому, имея намерение напиться, но, «подумав, решил проведать больного Грица Баната: одно — что родня, а к тому же — все легче, когда видишь человека, которому еще хуже, чем тебе».) И вот сосед Дмитро по-своему утешает умирающего, говоря, что в рай он попадет или в ад — все равно не будет никакой разницы. Ну, почувствует, конечно, что как-то иначе, чем на земле, но кто знает — может, и лучше будет («Мужицкая смерть»).

Если жизнь похожа на ад, то ад, конечно, похож на жизнь, и это хорошо показано в рассказе «Пророчество грешника». Экзекуторы-черти жарят на огне мужика, тычут в него вилами, а он не сопротивляется, терпеливо ожидает привычных побоев. А не дождется — сам о себе напомним: «Пан забыли еще вот здесь меня потузить».

Ад — огненная река посреди райских берегов, и убийца гуляет на берегу, а убитый горит в пламени. Все, как в жизни, и нечего взывать к справедливости. В мире не-

справедливости справедлива только несправедливость. «Простодушным мужикам не придет и в голову, что можно быть наказанным за одни лишь свои убеждения», но в аду это так. Совершенно как в жизни.

И все же у кипящих в огне хватает чувства юмора, которого начисто лишены райские берега. Грешник вспоминает свои земные дела: «И почему бы бедному бобылю не одолжиться чужой женой? Мысль была у меня, как женюсь — возвращу с лихвою». Вот такая она жизнь в аду: и нажаришься, и намучишься, но и посмеешься. Поэтому многие праведники предпочитают скучным райским берегам эту бурлящую огненную реку. Адская жизнь лучше райской смерти...

«Так пройдет много-много лет... За это время все мы привыкнем к адскому климату. Акклиматизируемся. Да и может ли быть иначе?»

Всем своим творчеством Лесь Мартович доказывает, что может, может и должно быть иначе. Не райская жизнь и не адская жизнь — человечеству нужна жизнь человеческая. Без чертей-эксекutorsов и без праведников-убийц. Без деления жизни на райские берега и на огненные реки.

А что касается юмора, то он здесь для того, чтобы не так больно было гореть в огне и чтоб не сгорела в нем вера в лучшее, что неизбежно придет, когда будут размыты райские берега и высохнут адские реки... Юмор в аду — это спасательный круг, который утопающий бросает утопающему...

6

Юмористы — люди веселые, почему же они пишут такие грустные вещи? Неужели нельзя просто посмеяться, весело, от души посмеяться, ну хотя бы так, «как смеется мечта из-за черной тучи: «Ги-ги-ги!» («Суеверие»). Мечта из-за черной тучи — это тоже не очень веселый смех и виновата здесь, естественно, не мечта, а туча. И даже простодушное «ги-ги-ги» не придаст ни радости, ни веселья.

«Где-то там, далеко-далеко, на севере, за лесами, за горами и скалами, есть страна, для своих же жителей враждебная...»

«Найденная рукопись об украинском крае» — древняя римская рукопись, найденная Лесем Мартовичем подобно тому, как Пушкин нашел свою «Историю села Горюхина», как нашел «Историю одного города» Салтыков-

Щедрин. И повествуется в этой рукописи о мужиках, которые лицом вроде бы похожи на людей и одеждой похожи на людей, но на самом деле являются домашней скотиной паннусов и поппусов. Мужикусы — исправная, покорная скотина, которая терпеливо переносит все: и нечеловеческий труд, и надругательства, и побои, — и не требует для себя ничего. Автор сочувствует им, но вместе с тем жестоко их осуждает: «...возможно ли, чтобы человек позволил так глумиться над собой и не сбросил с себя позорного ярма?» Сбросить позорное ярмо призывает своих сограждан Лесь Мартович, сбросить ярмо австро-венгерское и ярмо польское, сбросить ярмо своих национальных «паннусов» и «поппусов», добиться того, чтобы не была их родина им самим враждебной страной.

«Найденная рукопись об украинском крае» была найдена вторично в 1943 году, через много лет после смерти автора. Она не могла быть напечатана при жизни автора, несмотря на аллегорическую форму, которая помогает автору вести разговор с читателем, минуя посредников, могущих ему помешать. В условиях, в каких писал Лесь Мартович, писатель не мог остаться наедине с читателем, они, писатель и читатель, всегда были в положении тех влюбленных, о которых сказано в повести «Суеверие»: миловались они, целовались, «как обычно бывает между влюбленными, когда никто на них не смотрит, кроме Гапки, сквозь дырочку». Эту Гапку сквозь дырочку постоянно ощущал Лесь Мартович, как ощущали ее и Гоголь, и Салтыков-Щедрин. И мечта не могла пробиться сквозь тучу неискаженной, она пробивалась, скрывая свою главную суть за простым, безобидным, но горьким: «Ги-ги-ги!»

7

«Вечному студенту» Лесю Мартовичу присвоили звание «доктора хлопистики», то есть доктора мужицких наук, и это шуточное прозвание было самым высоким званием, какое может заслужить писатель, пишущий о простонародье. Он писал о народе, не снисходя до него, но и не стараясь поддобриться, без комплиментов и славословия, рассчитанных на взаимность. Он писал о своих «мужиках» как равный, как такой же «мужикус», и народ у него не идеален, как бывает у тех писателей, которые далеки от народа, а просто живой народ, со многими свойственными

ему недостатками. Но люди могли бы быть лучше, намного лучше, если бы жили они в других условиях,— эта уверенность никогда не покидает доктора мужицких наук.

«— Послушай, войт, я тебя считаю большого ума человеком.

— Что правда, то правда... Но вот народ очень глуп...

— Правда, святая правда! — крикнул мужик из толпы.— Это очень плохой народ... Вот у меня десять моргов земли, а у вдовы Варвары — ничего, кроме маленького клинышка со мной рядом. И сколько я говорил ей: уступи, баба, тот клинышек, он тебе и так без пользы, моя скотина все тебе вытопчет. Так, думаете, послушалась? Ну не поганый ли народ?» («Подарок Стрибога»).

Нищета тоже уродует человека, хотя и в меньшей степени, чем богатство, и только социальная справедливость дает ему возможность во всей полноте проявить свои человеческие качества. Понски социальной справедливости привели Леся Мартовича к марксизму. «Революционная деятельность и гениальные произведения делают Маркса величайшим человеком нашего века, пророком и защитником рабочих людей»,— писал он в листовке «На первое мая 1893 г. Карл Маркс».

8

Высмеивая невежество в различных его проявлениях, Мартович понимал, что одним образованием положения не изменишь. В наш просвещенный век невежество тоже питает слабость к образованию, но образовывается оно на свой лад, так что в нем с первых слов можно узнать невежество. «Одно чужое слово вытесняло из ее головы два родных. Вероятно, в ее голове не могло поместиться так много новых понятий» («Суеверие»). Образование на службе у невежества приносит очень плохие плоды, такие же плоды, как та кукуруза, которая прежде «родила без удобрения лишь потому, что была неграмотна и не вычитала из книг, что кукурузе нужна удобренная почва. Как прочитает, не захочет родить» («Суеверие»).

Одним образованием не искоренить невежества, они развиваются параллельно (впрочем, вопреки математике, постоянно пересекаясь между собой). Образование изобретает колесо — невежество изобретает колесова-

ние, образование изобретает электричество — невежество изобретает электрический стул. Двадцатый век, достигший вершин образования, достиг и вершин невежества, чему мы были свидетелями еще в недавние времена...

Невежество надевает очки и заседает в ученых советах, оно выступает с трибун в защиту образования:

«— Что вы, пан-сударь, то самое? Да ведь это же, пан-сударь, продажность, да ведь это же душу продают, а разве вы не знаете, пан-сударь, что это то самое? Если бы тот, пан-сударь, кто покупает, понеже, пан-сударь, он за деньги покупает доверие, да где же вы видели, чтобы такой человек, пан-сударь, впоследствии то самое?.. А совесть где? А совесть, пан-сударь, где? А душа, пан-сударь, а совесть где? А то самое, пан-сударь, где?» («Квитанция на пятерку»).

Невежество учит, создает свои концепции, дефиниции, элоквенции (все это излюбленные его слова), невежество выступает против невежества, разве вы не видите, сударь, что против невежества выступает невежество, что продают разум и душу, сударь, что совесть продают?

«— Весь город — наши дети, наши матери и наши жены исполнены огромной благодарности к вам, господин директор. И если вы должны покинуть наш город, то за вами потекут реки наших слез. Но где бы вы ни пребывали, память о вас останется в наших сердцах...»

Такую речь подготовил и собирался произнести молодой учитель Мицко на вечере, посвященном проводам директора школы («Прощальный вечер»). Но случилось так, что на вечер явился староста. Сам староста. И учитель Мицко произнес свою речь:

«— Весь город — наши дети, наши матери и наши жены исполнены огромной благодарности к вам, высокочтимый господин староста! И если бы вы должны были покинуть наш город, то за вами следом потекли б реки наших слез. Но где бы вы ни пребывали, память о вас останется в наших сердцах...»

Затем пели «многая лета» старосте и шикали на отиснутого в угол директора, который фальшивил.

Образованное невежество — это не простое невежество: оно умеет не фальшивить и всегда знает, кому петь «многая лета». О, сударь, оно знает, оно хорошо знает, сударь, то самое, оно отлично знает то самое, чего образованию никогда не узнать.

Жил веселый человек на невеселой земле, на земле, враждебной для своих жителей. Были на этой земле мягкие травы, но нигде было голову приклонить, были студеные ключи, но нечем было утолить жажду...

«— И от суда помощи не жди: его право! Вынесут приговор, а ты, бедный человек, хоть с моста в воду.

— Да еще не смей там рыбу ловить — заарендовано, — сказал малословный Ахтемий и засмеялся мужицким смехом, когда только голос вроде смеется и губы складываются в улыбку, но по лицу не видно, что это смех» («Мужицкая смерть»).

Человеку хотелось смеяться по-настоящему, потому что он был веселый человек и у него было развито чувство юмора, но как бы он ни смеялся, получалось так, что только голос вроде бы смеялся да губы складывались в улыбку, но по лицу не было видно, что это смех.

«Мужицкий смех» Леся Мартовича, веселого человека... Может, он потому так долго звучит, что он был замешан на грусти родной земли, настоян на ее кривдах и бедах.

Рассказы Леся Мартовича, смешные, но не веселые, были все же лишены той безысходности, которую им пыталась навязать жизнь. Юмору не свойственно чувство отчаяния, юмор, даже самый скептический, всегда утверждает. Он утверждает, что несправедливость несправедлива, а глупость глупа (это ведь не всегда так очевидно, как кажется), он утверждает, что смерть — смертна (а вот это уже не кажется очевидным, хотя так же верно, как то, что глупость глупа).

Мужики Леся Мартовича — оптимисты в лучшем значении этого слова, они не боятся ни жизни, ни смерти, хотя и то и другое к ним повернуто страшной своей стороной. Гриц Банат собрался уже умереть, «потому что он чувствовал себя лишним на этом свете. Но он хотел умереть, как люди, не тайком. Хотел расстаться с семьей так, как расстается после свадьбы отец с дочерью, отданной в другое село: тебе там жить, а мне здесь, бывай здорова!» («Мужицкая смерть»).

Ну-ка позовите сюда Монтеня, великого философа Мишеля Монтеня, пусть он явится сюда со всеми своими «Опытами», в которых сказано, что философия — это наука умирать! И пусть он посвятит в философы просто-го, неграмотного мужика Грица Баната!

«Это не штука сказать: ехать на слепой коняге, а вот как ехать? Тут нужно в нее саму обернуться, понять, что она там себе думает. Вот она идет, ничего впереди не видит, одну темноту, и кажется ей, что она на конец света зашла, что дальше уже и земли не осталось. И прежде чем ступить, все она пробует — не кончилась ли земля» («Номера»).

Мартович видел жизнь не только зрением просвещенного человека, писателя, но и зрением темного мужика, которому кажется, что там, впереди, уже и земли не осталось. А ведь это не шутка сказать: видеть мир и глазами писателя, и глазами темного мужика. Не всем это дано, да и не все к этому расположены.

Лесь Мартович всегда стоял на земле, он не имел пьедестала, на который иные забираются даже при жизни. Ему и после смерти не ставили памятников.

Он умер в тяжелый военный год, когда умирали многие. Умирали в армии генералы, в литературе умирали классики. Умер Джек Лондон. Умер Иван Франко. Умерли Шолом-Алейхем и Генрик Сенкевич. И в один год с ними, все в том же 1916 году, умер не классик, но прекрасный писатель Лесь Мартович.

Его похоронили на его земле, которая все еще себе не принадлежала, похоронили русские военнопленные, его земляки с восточной Украины. Крестьяне села Монастырек соорудили надгробную плиту, на которой выбили слова: «Память о славном мужицком сыне не погибнет». Но власти не разрешили поставить эту плиту, потому что земля, в которой был похоронен мужицкий сын, все еще себе не принадлежала...

Теперь его знает вся Украина, и никаких нет преград между ним и его читателем. И он встречается со своим читателем в каждой библиотеке, в каждом книжном ларьке, и мы говорим о нем: Лесь Мартович видел жизнь не только зрением просвещенного человека, но и зрением темного мужика, он был глазами этого темного мужика, он указывал ему путь и словно бы говорил: «Смелее, смелей вперед! Земля не кончается!»

Ф. Кривин

НЕЧИТАЛЬНИК

За стаканчиком очищенной и побеседовать, знаешь, любо; уж мне, старику, чай, не идти с парнями за девками гоняться!.. а-а, не-ет!.. А это вот — иное дело! Выпью, понимаешь ты, один, выпью другой — и душа на месте. Ведь кто, слышь, ведает, что с нами будет завтра?..

Вот, примером, бают, москаль восстание готовит на границу; толкуют, будто и на нас... потому он, москаль, охотник свои шутки, так сказать, показывать... Да и будет, паря, война!..

Ну да мы, слышь, урежем нос москалю! Ведь наш старшой — как пойдет тебе в костел да как помолится божьей матери — той, знаешь, что в этаком синем покрывале, глядеть — глаз не отведешь (я ведь, уж похвастаю, и по костелам хаживал!) — так вот, как помолится тебе он, божьей матери, что жида распяли... слышь, Абрамко? — распяли ее жида-нехристи за веру христианскую во веки веков аминь, сук-кин ты сын!.. — да как, знаешь, помолится это наш старшой ей: «Матушка, мол, божья! матушка всепресвятейшая, матушка (точно регент какой, подавился он калачом!) ...матушка, мол, милостивая, матушка...» Да что!! я уж, слышь, так не потрафлю... — то она такую, понимаешь, персону сразу и послушает, да и явится нам на помощь...

А как заляжет, понимаешь ты, *восько* и с той и с этой стороны, то вот, скажу тебе, — словно травы иль листьев — во как много!.. Сказывают, слышь, старики: как забрался однажды сюда москаль, так шел тебе через наши нивы с рассвета и до самой темной ночи (известно, это не кнутом щелкнуть!)... а уж как разлегся, скажу тебе, то, во-первых, страсть сколько!.. — куда ни глянь, ан все москаль, да москаль, без счету. Вот, понимаешь,

какая их тьма-тьмушая!.. Да наш старшой — не трус! Как крикнет тебе на *восько*: «Эй, ребятушки, пойдем, говорит, на москаля!.. да разотрем его на солому, на сечку... на труху разотрем!» Во как, во!.. Ведь наш старшой, знаешь, куда лишь кинет глазом — так тебе как огнем сыпнет... да и спалит москаля до пня, до самого, скажу тебе, пня!..

А уж тогда, знаешь, москаль до нас не достанет, а наш старшой пойдет, паря, во-во — как высоко!.. Да тогда, слышь, и нашего писаря отставит, а своего, понимаешь, подстаршего вместо него поставит. Ведь ему, знаешь, все нипочем; к первому, кто знает, куда двери отворяются, пойдет да: «Господин унтер, мол, — либо вахтер, или как там его?.. — иди-ка ты, мол, в то да то село, пойдя прямехонько той улочкой, что мимо Демьяна Бесконечного (это все, знаешь, в плантах значится!), да разузнай там, куда к войту¹ Федору Кушнярюку; да сейчас же и будь за писаря!.. А уж тебя там не обидят: что будет следовать — пиши иль не пиши, а общество представит... да и сиди себе, как у бога за дверьми; только, гляди, как говорят, о людях не забывай!»

Ведь будем говорить и так и этак — а все-таки, знаешь, это верно, что наш, понимаешь, писарь людей обдирает — тяжелые подати, сукин сын, накладывает на мир христианский!.. А тот, понимаешь ты, подстарший, уж как станет за писаря, то уменьшитборы...

Одно только мне, знаешь, не очень, как говорят, кстати: не знаю, умеет ли тот *кандибат* на писаря *казеты* читать (потому, его поди только и учили по *табелям* или — как там?.. а впрочем, кто его знает? — возможно, что и разберет казету... ведь старшой-то поди так грамотным и родится)... Ну! да уж поживем — увидим!.. А наш писарь ведь казеты-то читать хитер!..

Не раз, бывало, приду этак к нему — да: «Господин Шимон, говорю, а прочитайте-ка, что в тех, как говорят, газетах пишут?» А он-то как станет вычитывать — так уж читает тебе, читает... э-эх!.. Все про каких-то поляков, да украинцев, да про Бесмарков, да про солдат, да про какие-то Вести, — вот про все, знаешь, читает!.. А я, понимаешь ты, как сяду, как закурю трубку, да и слу-

¹ В о й т (війт) — сельский староста, начальник коммуны.

шаю, словом сказать — что влезет... А все-таки, признаться, хоть зарежь меня — ни слова не пойму...

Вот он, гляди, и начнет мне тогда уж сам рассказывать: «Это, грит, те украинцы полякам — или как там их? — во Львове проходу не дают... Они, мол, будто господа, однако и мужичью сторону держат...» Уж как-то но так чудно, слышь, эту самую газету называл... — вот, вертится на языке! — что-то не то лобастое, не то головастое... вот, вспомнил-таки: «Дело»!.. да-да-да!.. Потому, знаешь, есть еще и другая газета, что о *читарнях* пишет; и она также, понимаешь, имеет свое имя, да уж не такое чудное, — «Громадський голос»¹ называется... И еще, слышь, рассказывает (хорошо, что не забыл!): то, грит, вот ту газету, какой-то *шпекулянт* пишет, — что ни в церковь ни заглянет, ни тебе хоть бы, примером, в трактир; все придумывает, каким бы способом это землю отобрать у тех, сказать бы, других газетников... Однако, слышь, как-то уж чересчур зарвался — да и отобрали у самого...

Так вот, скажу тебе, как станет это он вычитывать, то я, гляди, подчас и задремлю даже; да как начну этак думать, то сразу, понимаешь ты, и приходит мне на память жена моя, покойница Палáгна: как это она, знаешь, помирала да прощалась со мною... да таково тебе жалостно, таково жалостно... что господи твоя воля!.. «Прощай, говорит, Иван, муж мой!» А затем позвала Микитку, поцеловала его этак в головку — да: «Прощай, мол, сыночек мой, Микитка!..» А дальше, понимаешь, и с Андрийком — и его в голову поцеловала: «Прощай, говорит, сыночек мой Андрийко!..» А после, понимаешь ты, и Дотьку... как обнимет, как поцелует да как станет приговаривать: «Прощай, говорит, дочурка моя Дотька, дочурка моя милая и сладкая!..» Да где там, я и десятой доли того не вспомню!.. Ведь она еще, понимаешь, и с батраком, покойница: «Прощай, говорит, Гриць, батрак!..»

А затем вспомню это, как она, покойница, уж на скамье лежала... господи... Да что уж?! Я, знаешь, выпил-то тогда порцию, выпил и другую, и третью... и думаю себе: «Вот, рассуждаю, я это пью, а душенька моей покойницы постится!» Ан глянь на дверь — а она, зна-

¹ «Громадський голос» — орган радикалов.

ешь, душенька-то моей покойницы — чур его! — в венике около дверей сидит!..

Ахти беда!.. А все ж я — к дверям... да как схвачу, понимаешь, в руки веник, как прижму его к себе да как заплачу: «Женушка моя, приговариваю, душечка моя хорошая!..» А люди, слышь, ну урезонивать меня да успокаивать: «И что это с тобою случилось, мол, Иван?.. Ведь все божья воля!..» Да куда там! — у меня и в мыслях того нет; я все свое: «Женушка моя, душенька моя хорошая!» — приговариваю... Уж и не знаю, как меня люди успокоили... А вечером того дня взял это я, понимаешь, стакан водки и половину хлеба, да и поставил на окно: люди, знаешь, говорят, что душа это ночью не прочь выпить на дорогу, да и закусить... Утром встаю я, понимаешь ты... к окну... — так аккуратно и случилось: душенька моей покойницы вот столечко во, на полпальца, выпила водки; а хлеба, понимаешь, почему-то и не тронула...

И вот, как придет иногда на мысль мне моя покойница, так я уж и не плачу, не-ет... Господи, просто сердце разрывается... и такая уж печаль меня разбирает, когда он начинает из тех казет всяческую, знаешь, всячину вычитывать... — то про барышню какую-то, что, слышь, и внизу-то у нее волоса растут (такую мазь выдумала!), да еще плутовка, и палтреть свой показывает; то за каких-то депутатов, что будто бы те депутаты... их будто все люди сразу выбирают, да и посылают, мол, не то в Вену, не то в Заболотов, то ли уж, grit, куда вам надо: к табаку ль, к податям, к романентам ли или к казетам... А впрочем, кто их там разберет!.. Да что!! — вот даже Семен Грицьков и Семенов Гриць и те свои голоса отдали за этого депутата... Известно, они, понимаешь, только выбирают себе депутата: голоса на него отдадут, да и делу конец, — ступай, куда господа укажут!..

Вот хорошо — вспомнил я об этих господах!.. Приехал, слышь, тогда какой-то барин к Ивану Гусакову: в очках да в таких это, знаешь, деликатных башмачках, что хоть на руки надевай да чешишь, глядя в них, — так тебе блестят, а еще ко всему — в вышитой рубашке... Я, знаешь, шел как раз к Гаврилу Крайнему... вот уж не припомню зачем: не то ось поломалась, не то покойница моя — царство ей небесное! — захворала (вот просто из головы вон!.. хотя, примером, — что до еды, то все те-

бе доподлинно, даже что мальчишкой едал припомню!)... Так вот, значит, иду это я к Гавриле Крайнему, да и вижу на дворе у Печеного этого барина... Я иду — этак, как вот, примером... — Абрамко, да встань же! — вот так, понимаешь, во!.. Я этак иду, а Печеный — так стоит: вот, как, примером, вы... а барин, что в очках, да вышитой рубашке, да в башмачках, — как вот Абрамко... И подходит ко мне Семен, Петра Прокопова Галушки, что женат на Насте Васыля Бесконечного.

— Слава Иисусу! — грит.

— Навеки слава господу!..¹

— А видишь ли, — спрашиваю, — этого вот барина, что, понимаешь, — говорю, — в очках да в таких деликатных башмачках, хоть бери в руки да причесывайся, глядя в них?.. Да еще, — говорю, — видишь ли, что на нем расшитая рубашка? Видишь, — говорю, — а?!

— Да, вижу! — отвечает Семен, Петра Прокопова Галушки.

— Так для чего же он, — спрашиваю, — для какой такой надобности-то, понимаешь, — говорю, — мужицкую рубашку надел?!

— Да лухавый его, — грит, — знает!..

— Вот видишь, а я знаю (потому я, понимаешь, слышал, что на тех господ иногда находит — простите уж за слово — мода или вера какая-то!)... Это, — говорю, — понимаешь ты, такая мода на него нашла, что он мужицкую рубашку надел (я ведь, слышь, и в лаптях господ видывал)...

— Рассказывайте вы, — грит Семен, — просто-напросто не знает, куда деньги девать, да и сходит с ума, дурак!..

— Гм! — думаю, знаешь, про себя. — Возможно, что и дурак, а может, думаю, и не дурак: возможно, слышь, что так, а может, понимаешь, как говорят, и не так! Всяко бывает... Один, примерно, сидит в трактире, а другой, понимаешь, в читарне... — снюхиваются, разбойники, да и собираются, понимаешь ты, барщину вернуть: таков, знаешь, войт, такая рада², да таков и мир!.. Нет, ох нет, — как цыган говорил, — правды, кроме как у меня, мол, да еще у бога милость!..

¹ Приветствия в Галиции тех лет.

² Р а д а — выборный совет сельского общественного управления («Рада громадська»).



Думаешь, и учитель лучше? Да ведь все они в союзе!.. Иначе для чего бы это он повестки расписывал, что, мол, наши ребята в школу не ходят?..¹ А уж как только он, знаешь, напишет, то писарь сразу прочитает, а войт-то, слышишь, и сдерет штрафные... а затем — все трое, на-

¹ В Австрии было установлено обязательное (по крайней мере, на бумаге) общее начальное образование с ответственностью родителей за непосещение детьми школы.

пример, поделятся... Дерут, понимаешь, собачья кровь! и все-то с нас, и все, например, нашу шкуру!..

Или вот, намедни, посылаю своего Микитку (он ведь, знаешь, уж в школу ходит!): «Иди, говорю, Микитка, гони корову пасти, а ты, говорю, Андрийко (ему уж третий годок пошел), иди вместо Микитки в школу!.. (Послал бы я, знаешь, и Андрийка... да кабы маленький... вздул бы его — да и махай по жнивью!.. да где уж там малыша бить?!) Вот и грю ему: «Иди ты наместо Микитки в школу, а как, говорю, учитель тебя спросит, чего, мол, надо и такое прочее... то ты, говорю, скажи. «Я, мол, пришел наместо Микитки в школу...»

Парнишка, знаешь, побежал вприпрыжку. А я, понимаешь ты, сел себе да обтесываю зубки к граблям. Обтесал это я, знаешь, один, да, понимаешь, и другой, да и третий... — глянь — мой Андрийка бежит с плачем... А он у меня, знаешь, ребенок бойкий; всего годик ему минул, а уж так остро брался говорить, что н-ну!.. Бывало, все говорит мне: «Ты, тятка, вор отпетый! холера бы тебя взяла!»... А матке как даст, бывало, в морду, то у нее даже в носу защекочет!.. И, знаешь, каждому, как говорят, умеет честь отдать: намедни вот — идет это в церковь поп, а он балуется с ребятишками на улице... как увидал, понимаешь ты, попа — так сразу ж к нему: перекрестился так — три раза — да и чмок в руку...

Так вот, знаешь, не успел я еще четвертый зубок обтесать, а Андрийка уже возле меня с плачем... «Только я, говорит, прибежал в школу, а учитель ко мне: «Тебе, мол, чего здесь надо?»... А я, grit, ответил так, как вы приказывали: «Микитка, мол, пасет корову, а я вместо него в школу пришел». А учитель мне: «Марш, grit, к песьей матери! Здесь, grit, не ярманка! Пусть твой тятка проваливает в город, ежели хочет торговать!..»

Вот и суди ты теперь!.. Да не все равно ль ему, тот или иной в школе корпеть будет?.. А все потому, что эти гайдамаки барщину хотят снова завести!..

Уж и тот барин в фуражке, что, знаешь, приезжал к нам на экзекуцию, хорошо растолковывал, что все это, мол, московская, понимаешь ты, работа!.. Вот так оно и есть: барщину, слышь, у нас заведут, отдадут нас под москаля — да и пропадай ты, христианская душа, ни за маково, как говорят, зерно!..

А это верно, что их работа, примером, не добром пахнет!.. потому, если бы, понимаешь, она к добру была,

то тот, знаешь, что в читарню откуда-то из самого Иль-
вова¹ приезжал, сказал бы напрямки: это вот так да
этак, это вот сюда, а то — туда; то, понимаешь, в эту
сторону, а это, примером, в иную сторону!.. А он, зна-
ешь, плетет что-то — ни то ни се!.. Примером: «Держи-
тесь, грит, братцы (не знаю уж только, за вихор ли или
за что держаться... хи-хи-хи!), — вот, знаешь, как гово-
рят... хи-хи-хи!.. — истинно: ни туда ни сюда!.. Ведь
советовал мне Абрамка: «Не иди, мол, ты в читарню, не
записывайся: потому, — ежели что, то себя под москаля
запишешь и барщину, мол, подпишешь!..» Вот так, да
и кончено!

Ну, да не удастся же тебе, москаль! ой нет!.. Ведь
наш старшой тебя, как говорят, на мак мелкий!.. А уж
тогда — писаря прогонит, новую раду назначит, войта
отставит... — а меня, примером, поставит...

Эх, Абрамко, да и меня войтом назначит!.. Ну, уж
тогда, понимаешь, читарню долой, к чертовой матери —
до-о-лой!! Потому, эти читарники берутся верховодить
нами да новые порядки заводить!.. Ишь ты, словно все
они не такие, как и я! Будто у них на три пяди глаз от
глаза!.. Э-э, нет! Наши отцы и праотцы этого не знали,
да жили ж себе?!

Ну, уж как стану это я войтом, да подберутся все
такие, как и я, то сейчас же читарню закроем, а этим
читарникам моментально фин ун цванцик — и кончено!..
А уж тогда... — пропадешь ты, москаль такой-сякой, без
вести! На щепки пропади, да и провались!.. У-у... зна-
ешь!.. А наш старшой да здравствует, как говорят, на
многая лета! Вива-ат! Да здравствует наш старшой,
да и, так сказать, сын его, и, примером, вся фамилия, да
и... ты, Абрамко!..

Здравствуй нам, как говорят, Абрамко, — на многая
лета!.. А уж как буду войтом, то, понимаешь, второе тебе
заплачу!.. Хи-хи-хи!..

Э-эй, седа дана-а!
Села кошка на барана...
Села, мол, на барана...
Села... вот... примером...
У-э! уэ! ой-ой-ой! у-э! у-э!

НОМЕРА

Посвящаю М. Павлыку

I

Жал Иван Притыка со своей женой Аницей на поповском поле за снопы. Солнце уже зашло, а они все не прекращают работу, потому что те, которые жнут за снопы, рады подбавить хоть еще несколько снопов. А о том и не задумываются, что сегодня только один раз ели, как не задумываются паны о цене напитков,— дорогие они или дешевые, а пьют все подряд, когда уже войдут во вкус. По виду Аницы нельзя было сказать, что она устала, но зато Иван уже и язык высунул. Он был далеко не молод (это у него вторая жена) и болезнен, да к тому же еще и не ел ничего с самого утра и так проголодался, что насилу-насилу дотянул до вечера... Сколько раз уже разбирала его охота отшвырнуть прочь серп и хоть поговорить об еде (все-таки отвел бы душу), но он не мог на это решиться, так как видел — жена жала и хоть бы раз закричала; как же тут приставать к ней с разговором о еде? Неловко. Как уж ни горько и тяжело ему было, а дождался Иван сумерек и насчет еды даже не намекнул.

Только, когда уже возвращались домой, как ни старался он о том о сем думать, о том о сем говорить,— а не утерпел и все-таки спросил жену:

— Есть у нас дома что перекусить?

— А чему ж быть? — говорит Аница. — Разве что утренний борщ, и тот без хлеба.

— Да хоть бы,— отвечает Иван,—дохлый пес был,

лишь бы поесть, а то так проголодался, что прямо ото-
щал!

И правда: стало Ивану немножко легче, когда он услышал о борще, но зато теперь этот борщ не выходил у него из головы: захочет Иван сообразить насчет снопов — сколько он нажал, захочет завести разговор о поросенке, которого купил за пятьдесят крейцеров¹, — ничего не выходит: стоит перед его глазами большой глиняный горшок с борщом, а в нем торчит ложка величиной с уполовник. Живо представив себе это, Иван обо всем забывает: вот бы схватить эту большую ложку величиной с уполовник!

«Грех, пожалуй,— рассуждает он сам с собой,— о таком думать, а поговорил бы об этом с великой охотой».

После этого его прямо досада берет на Аницу.

«Почему бы ей,— думает он,— хоть не упомянуть об этом борще,— что такой-то он, мол, и такой — холодный или еще чуть теплый, полный горшок или только полмиски, или еще что-нибудь такое! А то закинула серп на плечо и семенит ногами, точно у нее не такая ж душа, как у меня? Может, это оттого, что она молодая, а я старей?»

Так думает Иван, а сам злой — как пес хозяйский, как волк голодный. Аница же ничего даже и не подозревает: идет да рассуждает о пшенице: своей, мол, будет полвоза, да заработанной — полвоза; как-нибудь, говорит, перезимуем. Лишь бы удалось, говорит, крышу починить, а то всякий раз протекает. Иван на это пробормочет что-нибудь, а внутри у него так и кипит!

«С чего это она (говорит он про себя) так расстрекоталась, точно из церкви идет? Вот я ей сейчас рот заткну! Да что это я? (Сам себя сдерживает.) Жена не виновата. Эге! (Так он — сам себе.) Это у меня с голоду, что ли? Это, видать, не голова моя такое выкамаривает, а желудок!»

От этой мысли стало Ивану неловко. Он понурился, замолчал, словно воды в рот набрал, и молча приплелся домой.

¹ Крейцер — австрийская монета.

Дома Аница начала возиться по хозяйству, а Иван бродил за нею, как тень, и не переставал думать:

«Что это она? Забыла про меня? Словно она одна в хате — и не вспомнит о еде!»

Аница из хаты — он за нею, Аница в сени — он за нею, Аница к поросенку — и он туда, и все напоминает:

— Дай мне борща, хоть похлебаю.

— Да подождите (Аница говорила мужу «вы», потому что годилась ему в дочери), погодите, вот управлюсь!

— Ты-то сама можешь потом, а мне давай борща!

Аница, чтоб отвязаться, налила в миску остывшего борща и стала мыть горшок.

Ух! Как припал муж к борщу, как начал сопеть — точно добрый конь, когда на гору с кладью взбирается! Поначалу он медленно тащится по ровной дороге, а потом, на гору, напряжется изо всех своих сил и начнет так ногами перебирать, что его еще и удерживать приходится... Но зато на самом верху останавливается отдышаться. Так и Иван съел весь борщ и пыхтит, пыхтит — отдышаться не может; только уж немного погодя говорит:

— Откуда у тебя там вроде как бобы?

— Что? Какие бобы? — спросила Аница.

— Как это какие? В борще! Вроде как три боба попалося.

— Перекрестись! Пустой борщ, откуда в нем бобы?

Иван в ответ вытаращил глаза и уставился на нее в неподдельном изумлении. Однако по лицу его было видно, что он что-то глубокомысленно обдумывает. И довольно долго он обдумывал, пока не додумался вот до чего:

— А-а-а! — сказал он жене. — А я-то удивлялся, почему этот боб оцарапал мне язык, весь теперь в царапинах! А это, видать, тараканы! А я еще их раскусывал. Ведро, Аничка, скорее! О-ох, все кишки себе порву!

Бросилась Аница за ведром, но Иван не стал дожидаться: согнулся дугой, зажал рот ладонью да к дверям, да во двор, да к плетню.

Схватился обеими руками за кол, опустил голову между рук, отставил ноги назад подальше, — и просто кончается человек! Все это произошло в одно мгно-

венье,— и слова не успел бы произнести, а он уже добежал к плетню. Но у плетня он промучился с добрый час! Потому, во-первых, что съел полную миску борща, а во-вторых, потому, что каждый раз как хлынет из него — он вспомнит тараканов и то, как их раскусывал,— и его еще сильнее тошнит.

Какую надежду возлагал на борщ, а борщ вон как зря пропал!.. Так-то! Многое на свете вот так зря пропадает!

Аница же бросила на землю ведро и остановилась посреди хаты — ни жива ни мертва.

— Горюшко мое! Что тут делать, чем пособить?

Выбежала она к мужу, да по-настоящему и не знает, что предпринять: заткнуть его не заткнешь, а сделать что-то надо! Вот она и начала вокруг него ходить и приговаривать:

— Господи, заступи и сохрани всех крещеных и нас тоже! Это на нас напущено. Это с умыслом. Кто-то нам завидует, не дождался бы он белого света увидеть!

А Иван, извергнув из себя борщ, весь до последней капли, начал стонать.

Постонал-постонал, выпустил кол из рук и чуть не упал, но Аница подхватила его и увела в хату. Иван влез на печь, лег на спину — и:

— Верно,— говорит,— уже не дожждаться мне завтрашнего дня!

Аница тоже закручинилась, позабыла и про ужин; не спала всю ночь напролет.

III

Заболел Иван, не слезает с печи, и Анице тоже не до работы. Передает поп через людей Ивану, чтоб шел дожинать; посылает даже батрака. Но не идут ни Иван, ни его жена. Отец Кабанович рассердился.

— И что это,— говорит,— за гнилой мужик! Работать не идет эта голь перекатная, а ведь, матушка, пьет, наверное, дома! Пошел бы я,— говорит,— сам к нему и погнал бы этих лодырей (потому что это, матушка, гибель для народа!), но сейчас невозможно: такая жара на дворе, что прямо пропадай! Однако жара, матушка, вредит не только мне, но и моей пшенице, потому что это мужичье собачье теперь от работы отлыни-

вает: пошли друг за дружкой в кукурузу, в тень, и спят, а работа стоит (весь народ, матушка, обленился: пойдут к лавочникам в батраки!). Когда б только я мог выскочить на поле, я б им показал, если б застал кого-нибудь не за работой. Но теперь, матушка, выйти — немислимое дело, а вечером, хоть и выйду, мужики уже по холодку за работу примутся. Ну и духота! Тянет меня в сад, в прохладу, да нельзя. Отложу до вечера. Не пойду в поле — так хоть к этому Ивану загляну.

Перед вечером по дороге, ведущей мимо хаты Ивана, не бочонок катится, не воз со снопами ползет — это отец Кабанович не то качается, не то идет; подобно тому существу из сказки, которое как-то такое коленце выкинуло, что не ехало — не шло, не летело — не плыло, — вот так и отец Кабанович! Правда, если с близкого расстояния посмотреть, то он все-таки ногами перебирает; однако же не двумя: его собственным двум помогает еще и палка, толстенная-претолстенная дубинка. Пан-отец таскает с собой эту дубинку не из прихоти и не ради удовольствия, а потому, очевидно, что она ему требуется, как требуется в распутицу третья лошадь под тяжелую кладь. И в самом деле, он шел так, как идут под кладью жалкие клячи по глубокой грязи: пройдет немного, еще пройдет и остановится отдышаться. И как же изморился он! Лицо посинело, глаза из орбит вылезают, голова так склонилась набок, что даже чуточку шею видно (а это очень редко случается). Вот какой подвиг свершил отец Кабанович, пока дошел до калитки Ивана. Но тут он только рукой махнул.

— Об этом, — говорит, — и думать нечего, чтобы пролезть!

Отдышавшись, взялся обеими руками за палку, упер ее концом в землю и навалился на нее всей тяжестью своего тела. Несмотря на то, что палка была толстая-претолстая, она воткнулась в землю, да еще и согнулась. Устроившись в такой позиции, отец Кабанович завопил во все горло, с такой силой, чтоб голос его услышали в хате:

— Почему вы на работу не идете? Пьяницы, воры! Я вас в тюрьму посажу!

Аница в это время возилась у печки, готовила ужин Ивану. Она выпросила у соседа немного «молочка», потому что у нее как раз та пора была, когда, как говорится, хоть руки в боки да вприсядку: одна вода, а



если б еще к ней муки — вот и была бы готова кулеша¹. Сама Аница питалась постной картошкой, но для Ивана она то масла где-нибудь выпросит, то борщок забелит, а теперь вот достала молочка, потому что с Иваном что-то недоброе творилось. Он все время, от самой зари, охал и приговаривал:

— Вот так мы! Вот так мы! Ой, вот так мы!

¹ Кулеша — кушанье из кукурузной муки.

— Да что у вас,— допытывается Аница,— болит? Хуже вам?

А Иван:

— Вот так мы! Ой, вот так мы!

Аница стояла в размышлении, и пришло ей в голову: «Вот-вот умрет... горюшко мое!.. Недоедает... это у него от плохих харчей... А ничего ж нету, хоть умри! Сбегать бы к кому за молочком?» Она сюда-туда, раздобыла это молочко, и в ту самую минуту, когда поп завопил у калитки, готовила его, но, услышав крик, бросила все, а сама — опрометью из хаты.

Когда Аница у калитки увидала попа, у нее словно мурашки по спине поползли. «Ага! Это на работу!» — подумала Аница, склонилась к поповской руке — и:

— Так и так,— рассказывает,— хворает мой муж. Намедни поел холодного борща, а там попало что-то около трех бобовых зерен... что ли. Повредило ему — и захворал.

Она уже не стала рассказывать о своем подозрении, что это умышленно напущено, потому что отец Кабанович, большой народолюбец (даже «Дело» выписывает), боролся с народными суевериями. Не раз, бывало, стоит только пойти кому-нибудь к гадалке или упомянуть о ведьмах,— поп говаривал: «Ты грешник, бог за тебя всех русинов карает. Накладываю на тебя покаяние, говорит: принесешь мне в церковь меру раков и два дня отработаешь мне». А затем, после такого патриотического подвига, сам шлет анонимные письма в газету о том, что в таком-то и в таком-то селе живет такой-то и такой-то священник, отец Кабанович, великий патриот и народолюбец, уничтожающий народную темноту и сеющий семена просвещения. Да будет же ему, мол, за это слава; дай бог, чтобы такие люди рождались и на каменистой почве!

Но хоть Аница и умолчала об умышленной порче, попу все-таки и такая ее речь пришлась не по душе.

— Ишь какой,— крикнул он,— пан вельможный! Повредило ему! Подумаешь, голь перекатная, повредило! Знаю я вас, дармоедов! Лень! Не желает, матушка, работать или с перепоя!

Аница в ответ быстренько затараторила:

— Ей-богу, батюшка, правду вам говорю. Господь милосердный видит, не сойти мне с этого места, чтоб мне руки покорчило, чтоб ноги у меня отнялись, чтобы

мне ослепнуть и языка лишиться, коли вру! Ей-богу, батюшка, повредило ему — и захворал. Я уж даже к знахарке собиралась, — вырвалось у Аницы, но она тут же спохватилась.

Да поп тоже не лыком шит — его не обманешь.

— Значит, так? Тебе к знахарке хочется, к дьяволу? Оттого ты и в нищете такой: это все, матушка, божья кара! А ну-ка, явись ко мне, голубушка, на исповедь; а будешь шебаршить, я тебе, матушка, и отпущения грехов не дам.

Аница испугалась:

— Я, батюшка, больше не... то бишь, я... Вот я со своим и советовалась — к знахарке идти или службу заказать? Но мой старик не соглашается: «К знахарке, говорит, надо в другое село идти, да еще надо и дать ей что-то, а нам и самим бог подаст; а службу, говорит, и в своем селе можно заказать, а потом отработать; а помогает, говорит, одинаково».

— Службу, — отвечает поп, — и я б тебе посоветовал, но следовало бы еще и к доктору поехать. Человеку должно употреблять земные средства при болезни, однако и о духовном не забывать, ибо всякая болезнь от божьего соизволения. Поэтому тебе следует обратиться и за врачебной помощью, и службу господню заказать.

— Да я бы рада, батюшка, к дохтуру, потому, говорят, помогает, только у меня и крейцера, батюшка, нету. Я бы просила милости господней да и вашей, — не могли бы вы нам помочь хоть одним левом¹, а мы бы отработали? Да, может бы, и... лошадку, батюшка? Ей-богу, батюшка, я бы и отработала, и каждый бы праздник церковный на толоку ходила бы, а зимой — так и в будни.

Батюшка призадумался.

— Стоит ли вам помогать? Теперь ты мне и то и се, а когда я в прошлом году посылал за тобой, так ты еще и крик подняла: «Не пойду на попа даром работать, пускай нанимает!» А теперь ты вот как: и отработаю, и на толоку, и то и се. Нет! Что посеяла, то и пожни: нанимал я — нанимай же и ты! Думала, большой мне вред нанесешь, — ан вот пришла коза к возу!

Аница до самой земли кланяется, и соловьем разливается, и, словно малый ребенок, оправдывается:

¹ Лев — австрийская монета.

— Ей-богу, батюшка, не говорила я такого. Это вам наврали. Не пошла я прошлый год потому, как некогда было — то одно, то другое. А сейчас, ей-богу, батюшка, правду вам говорю, будем оба ходить, как только клинете. И то сказать: в своей хате у меня работы кот наплакал, а нам лишь бы прокормиться — хоть дома, хоть по добрым людям. Я готова у вас на работе и днеть и ночевать — в поле или дома по хозяйству, потому как я уж думала и на место наниматься, а это одно и то же: лишь бы прокормиться!

Поп как бы нехотя произнес:

— Уж ладно... Только пускай люди не говорят, что нет у меня милосердия. Приходи уж... только вот мне все что-то подсказывает, что ты меня обманываешь.

Аница хотела еще кое-что сказать, но поп не дал.

— Ну-ну,— сказал он,— не трещи! Ты кого угодно переговоришь, язычок хорошо смазан. Помни же — чтоб отработала, а то я задам тебе! Так уж и быть, одолжу тебе лев и дам кобылу.

Поп покатился домой, а Аница метнулась в хату доканчивать приготовление ужина.

IV

И для отца Кабановича тоже дома готовился ужин. О нем-то и думал священник, возвращаясь домой: «Как это славно, выйти куда-нибудь на минутку из дому; вот приду — ужин уже будет готов и покажется мне вкусным, потому что я малость протрясся. И добрые же шницели умеет моя матушка готовить, весьма добрые! Но человеку и они все-таки приедаются — только мясо да мясо. Вообще все приедается. Вот в пост рыба сначала кажется такой вкусной, а дальше — уже не то!»

Предаваясь подобным размышлениям, отец Кабанович не заметил, как очутился у дверей своего дома. Перебрался через порог в горницу, опустил в кресло и — томится: взопрел так, будто хлеб молотил жарким летом в полдень. Отдувается отец Кабанович, раздевается, утирает пот — ничего не помогает! Кличет священник жену:

— Тебе,— спрашивает,— тоже так душно, как мне? Я уже, ей-богу, не могу выдержать.

— Странно,— говорит попадьа,— ты ненамного пол-

ней меня, а так тебя жара расслабляет. Вот я и во дворе верчусь, и у печки вожусь,— а как-то выдерживаю.

— Это потому,— говорит священник,— тебе легко выдержать, что у тебя есть какая-то работа: за работой обо всем забываешь.

— А ты пошел бы искупался,— советует попадья.

— Я и сам об этом думаю. Да тяжело, потому что очень далеко; пока дойдешь до роши — весь растаешь. Сама посуди: идти по дороге — очень далеко, а тропинкой — неудобно. Отсюда для меня не велика беда перейти через дорогу к церкви, а уже там надо через перелаз¹ перемахнуть. Да еще такой высокий перелаз! Придется сказать, матушка, в воскресенье в церкви, чтоб его сделали пониже.

— Так ты взял бы,— советует попадья,— да газеты почитал. Не разбираюсь я в этом, но вижу, что газеты могут так же развлекать, как и карты.

— На что мне твои газеты! Не хочется мне с ними возиться, потому что они не моих убеждений. До недавних пор выписывал я «Червонную Русь», — так меня за это прозвали русофилом. А отец Филимон посоветовал «Дело» выписать: «Эта, говорит, больше наше дело поддерживает. Вот, говорит, поместила — и притом еще особым приложением издала — воззвание «Краковских взаимных обеспечений», а «Червонная» и словом об этом не упомянула». Я и выписал «Дело». Да не хочется читать: не моих, матушка, убеждений! Где-то, слышал я, в других краях, каждое сословие имеет свой орган, а русины на это не могут раскошелиться.

— Тогда я и вправду не знаю, что тебе посоветовать,— говорит попадья.— Может быть, ты что-нибудь написал бы в газеты?

— И верно,— говорит поп,— я еще в «Дело» не писал... Но нет, сердце мое, летом я не того... Я и в «Червонную» летом не писал; зимой — другое дело. Я бы гораздо охотней... я хотел бы предложить тебе одну вещь. Посиди-ка ты возле меня. Брось, милочка, работу и посиди со мною.

А попадья:

— Да я,— говорит,— это самое... только что начала

¹ Перелаз — часть плетня, которая делается пониже, чтоб ее можно было перешагнуть.

готовить ужин, а прислуга одна со шницелями не управится.

— Вот ты и скажи прислуге, чтоб сделала вместо шницелей (приелось ведь уже!) жаркое, а сама приходи ко мне.

Попадья пошла на кухню и принялась ругать прислугу:

— Девка! Девка! И как ты на божьем свете жить думаешь? Ты до сих пор не умеешь шницелей делать! Сколько уж я тебя учу и все думаю: вот, мол, будет мне помощь. А ты только даром хлеб ешь. Я вот больна, не могу на кухне сидеть,— лучше уж не затевай шницелей, а изжарь-ка это мясо — и все!

— Да я ведь, ваша милость, уже умею шницели делать,— отвечает прислуга.— И коли ваша милость больны... Только, господи, с чего бы?

— Делай свое! Не лезь с расспросами! — прикрикнула на нее попадья.— Бери и жарь это мясо. Но только попробуй мне испортить! Я тебе тогда покажу! Ни я, ни батюшка не станем есть, потому что мы оба что-то прихворнули. Поставь-ка, да скорехонько, мясо в печь и обходись без меня. А если я обязательно понадобится — через двери покличь. А если выйду — не торчи под дверями и не подглядывай, берись сама за работу.

Сказав это, попадья ушла в горницу.

V

Кобыле было уже тридцать лет без малого — на девятый день восемьсот шестьдесят первого года узрела она свет солнца. Скакала она, скакала, а затем, как это в лошадином роду полагается, пошла в упряжку. Сначала возила бричку, а потом таскала плуг. Только уж под самую зиму дали ей кличку «Галена» и определили ходить под попом. Но все уже было в прошлом, времена изменились: кобыла на один глаз ослепла, вторым же и раньше не видела, а поп не мог уже в жаркие дни возить на кобыле свое чрево, ибо оно никак не дружило с солнцем. И с тех пор поп стал жиреть в своих покоях, а кобыла застоялась на конюшне. Там-то она и захромала на одну ногу и окончательно утратила свои прежние качества. Нынче она питается одной соломой: для меня, мол, старухи, и этого хватит. Да и солому эту ест

от случая к случаю: молодым, мол, гулять, а мне, старухе, надо о смерти думать. В упряжке уже не хитит: мне, мол, старухе, время отдыхать,— пускай молодые мир вверх дном переворачивают! Солома из ее яслей молодым коням идет на подстилку: яйца, мол, важнее курицы! Слаба стала, сердечная, здоровьем, кашляет, с тела спала: ребра можно, как ступеньки лестницы, пересчитать; и красоту свою потеряла: ободрала левое бедро. Зато статью вышла: высоченная, под самый потолок,— мол, не из какого-то там простецкого рода!

На следующий день после разговора между попом и Аницей произошла в кобыльей жизни перемена: перед рассветом появилась Аница с кнутом в руках. За то время, пока Петро, поповский батрак, ходил на конюшню, выводил Галену и запрягал ее в старый воз, Аница с трудом вытянула из поповских рук лев, потом уселась на возу, взяла вожжи в руки и тронулась в путь. Сухоребрая Галена словно чобан¹ пошла плясать: круп ее вихлялся из стороны в сторону. На нее накнулись роем мухи, а она опустила уши и только лишь иногда хвостом махнет, будто нехотя. Однако доплелась кое-как до хаты Ивана, остановилась и ожидает, пока хозяева выйдут и усядутся на возу.

Аница выводила Ивана из хаты, словно какого-то нищего: лицо его почернело, сизыми пятнами покрылось, глаза ввалились, ноги отказывались служить; к тому же Аница, обрядив мужа в старый дырявый кафтан, подпоясанный свяслом из камыша, вела его босым. Сама же Аница, словно дочка его (только чуть бледнее стала), надела новый праздничный наряд, перемытку² и сапоги (все свое приданое). Сапоги, правда, принадлежали не только ей, но и Ивану; все лето они простаивали зря, но зато зимой в них ходила либо Аница — и тогда Иван сидел дома, либо Иван — и тогда Аница оставалась в хате. На возу Аница села за возницу впереди, а Ивана пристроила сзади. Он не то полусидел, не то полулежал; ноги его были прикрыты ветхой дерюгой.

Погоняет Аница слепую кобылу. Кобыла сопит, как трое мехов одновременно, спотыкается и ступает так неуверенно, будто под ней земля вот-вот провалится. Ибо невеликое искусство сказать: вот этот едет на слепой кля-

¹ Чобан — народный танец.

² Перемытка — головной убор из домотканой кисен у замужней женщины.

че или вот тот едет на слепой кляче,— важно, как едет! Тут необходимо в эту слепую кобылу обратиться и постичь: о чем она думает? Вот она плетется, ничего впереди себя не видит, перед глазами у нее только мрак да мрак, и начинает казаться ей, что она куда-то на край света забрела и что дальше уж и земля кончается. Поэтому-то она, прежде чем ступить, пробует — есть ли еще земля или уже кончилась? Таким способом кобыла определила, что земля существует и за селом, а вот на этом месте провалилась,— и, не долго думая, взяла да остановилась: вот уже, соображает, я свое отъездила! Но тут Галену так ожгло кнутом по крупу, что на ней вся кожа затряслась; не знала глупая коняга, что тут не земля проваливается, а спуск начинается и надо с горы съезжать. Аница ухватила крепко за вожжи и так натянула их, что даже назад откинулась. Кобыла — трюх-трюх, своротила с дороги и — брык в канаву! Подняться — и в мыслях нет: уткнулась мордой в траву и щиплет с такой жадностью, что даже грязью обжирается. Уж как Аница бьется, уж как понукает, как хлещет кобылу — боже ты мой! Вбежала Аница в хату на отшибе села, упросила добрых людей помочь; подняли Галену на шестах — и айда в путь-дорожку. Аница на воз уж и не садилась, а вела конягу в поводу. Следовательно, езда была не слишком скорая, потому что Галена плетется-плетется, да вдруг остановится, как невеста на свадьбе: изобразит из себя закорючку, своротит шею на сторону, дотянется как-то мордой до задней лопатки и что-то грызет там, клацая зубами. Несмотря на то, что до города не было и мили, они приехали туда только в обеденную пору.

В городе почти никакой помощи Ивану не оказали, а только одно и узнали они там, что за лев лекарства не найти. Доктор взял за осмотр семьдесят крейцеров и написал рецепт. Аница сперва подумала, что это и есть лекарство, что эту бумажку Ивану надо проглотить, и спросила доктора: с хлебом ли ее съесть или водой запить? Но после того как доктор разъяснил ей, что это только такая квитанция, а по ней в аптеке еще надо лекарства получить и к тому же еще заплатить за них,— Аница подвела Ивана к возу, усадила его сзади, а сама оперлась о грядку и чуть не со слезами проговорила:

— Я так и думала: раз поп скоро служит — тут что-то не то! Ему, видно, мало, что у него ссудная касса, он

еще хочет содрать с каждой хаты по две шистки¹ на какую-то читальню.

С этой читальней, о которой вспоминала Аница, дело было так. Жаловался как-то поп попадье: «Я умру,— говорит,— со скуки». Попадья и посоветуй ему организовать читальню — все-таки развлечение. Поп на следующее же воскресенье сказал в церкви, чтоб каждый из мужиков дал по двадцать крейцеров, и тогда они организуют у себя читальню — дело полезное и богу угодное. Однако через некоторое время оставил эту мысль — во-первых, потому, что летом пришлось бы ходить туда, а во-вторых — отсоветовал ему помещик.

VI

По дороге домой Аница не утерпела и завернула в другое село, к знахарке. Знахарка, известная на всю округу повитуха, осмотрела Ивана и справилась о причине болезни. Иван хотел было рассказать, но Аница перебила его:

— Вы,— говорит,— молчите, я сама. Они у меня, как видите, неразговорчивые сызмальства. Слабые на работу и в беседе неговорливые.

И Аница стала рассказывать сама, начиная с момента своего супружества. Сколько раз и Ивану хотелось вставить свое словцо, но Аница наказывала ему молчать и все приговаривала, обращаясь к знахарке: «Они у меня неразговорчивые».

Из ее рассказа знахарка узнала, что Аница вышла замуж за Ивана, потому что так ей советовали родители: парень, говорили они, не попадается, а за вдовцом, даст бог, может и выбьешься. А Иван,— неразговорчивые они и слабые в работе,— только то и знают, что хворают. Да Аница на это не жаловалась бы, потому как есть у них и хатенка, и участочек земли; хоть от всего этого не столько пользы, сколько забот из-за податей. Давно уж у Аницы в мыслях на место поступить: так жалко же мужа бросить,— все-таки хоть и неразговорчивые они, а сердце у них доброе. По счастью, детей у них нету. Но, хоть ихние враги и поднимают их на смех — что это, мол, отец с дочкой живут, хоть тяжко им добывать

¹ Ш и с т к а — мелкая австрийская монета.

свой кусок хлеба, она об этом и не думала бы, кабы не хворь. А намереди...— И тут Аница рассказала о тараканах.

Знахарка выслушала, выслушала все до конца — и: — Не бойтесь,— говорит,— это пройдет. Это, верно, лихоманкой прикинется. Да бог смилуется, пройдет! Нате вам вот этой травы, бросьте щепотку в кипяток и дайте на ночь напиток, чтоб пропотел. А вам бы, голу-бушка, я все-таки посоветовала бы теперь или после жатвы у нашего учителя места поискать, у него нет батрачки; там бы вам было райское житье.

Иван с Аницей вняли совету: завернули по дороге к учителю,— и через неделю Аница должна была поступить к нему на место.

VII

Прошла неделя, Иван по двору похаживает... Да нет, дело вот как было...

Солнце стояло на закате. Оно облило желтым светом хату Ивана. плетень Ивана, поросенка Ивана и самого Ивана, сидевшего на завалинке и приглядывавшего за тем, чтобы поросенок не вбежал в сенцы.

— Ты,— говорил Иван поросенку,— пасись вежливо и не будь свиньей: не суйся, куда тебя не просят.

Аницы в то время дома не было, относила пшеницу попу за кобылу и за лев. Анице попало хорошее место, и потому Иван отсыпал попу пшеницы.

Да с попом, оказалось, не так-то легко. Как узнал он, что Аница замышляет, чуть не взбесился. И было отчего: то Аница клялась, что отработает и на работу бесплатно будет ходить,— и вдруг приносит зерно! Поп просто понять этого не мог!

— Как это так? Плакалась, молила — и обманула! Эй, люди добрые, где тогда правда на свете?! Опасные люди бунтуют народ против всех священных устоев, а он и без того дикий!

Несмотря на лето, отец Кабанович написал на эту тему корреспонденцию в «Дело». Не до шуток им будет!

Досталось от него Анице как следует, но зерно она все-таки оставила и возвратилась домой Иван сидел на завалинке.

— Что сказал поп?

— Да что ж! Сказал,— отвечает Аница,— что мужик плутнями живет.

— Неправда! Не плутнями мужик живет, а знаешь чем?

— Чем? Ужели правдой?

— Какой там правдой! Не правдой и не плутнями мужик живет, а номерами, коли хочешь знать!

— Что? Какими номерами?

— Да уж такими!

— Что вы там выдумываете! Какими номерами?

— А вот какими: у каждого мужика есть свои девять номеров. Первый номер — мужик пашет; второй номер — мужик боронит; третий номер — мужик сеет; четвертый номер — мужик жнет; пятый номер — мужик вяжет в снопы и свозит; шестой номер — мужик молотит; седьмой номер — мужик веет; восьмой номер — мужик несет... Да нет! Хуже! Тут опять другие номера: первый номер — мужик несет, куда прикажут; второй номер — мужик несет... третий... и таких номеров — что звезд на небе, что песку в море!

ИВАН РЫЛО

Не для славы, а для людей...

Я таким уж отроду удался, что никогда не верил ни в ведьм, ни в чародеек, ни в упырей. Но с тех пор как узнал Ивана Рыло — начинаю верить! Вы только послушайте, какой штукарь этот Иван Рыло: он умеет всякой тварью оборачиваться. Смотрите вы на него: человек как человек, и вдруг — гоп! — и предстанет перед вами свиньей, собакой, зайцем или еще чем-нибудь. Другому я никогда бы не поверил, да сам своими глазами видел.

Однажды Иван Рыло был там, где раздавали. Собрались люди, разговаривают, ждут, когда начнут раздавать. Стал между ними и Иван Рыло и тоже разговаривает. Такой же человек, как и любой из нас. Вот начинают раздавать. А наш Иван Рыло чуть только это заметил, сразу же выпрямился, как тополь, стал какой-то внушительный, напыжился — ну просто оборотился в откормленного кабана, вот-вот захрюкает! И басом орет, как вол.

— Расступитесь!

Расталкивает людей, лезет вперед всех, чтобы ему первому дали. Другие люди его останавливают, урезонивают:

— Не толкайся,— говорят,— Иван Рыло, и другому дай место.

— Ага! — огрызается свирепо Иван Рыло, точно собака, и даже зубами щелкает.— А почему мне другие места не уступают, а я должен каждому уступать?!

Но был однажды Иван Рыло там, где надо было дать для общей пользы. Одни люди стоят, другие сидят и, разговаривая, ждут, когда настанет их очередь давать.

И Иван Рыло тут же, между ними. Стоит среди толпы, такой же, как и все. Стоит, разговаривает. Вот настало время давать. Люди достают кошельки, отсчитывают деньги и дают, сколько нужно. А наш Иван Рыло — фить! — свернулся в клубочек и стал такой маленький, как котенок; поджал хвостик и мурлычет. А потом, согнувшись в три погибели, все назад да назад — и спрятался позади всех. Люди его увещевают.

— Ну выйди, Иван Рыло,— говорят,— вперед, дай и ты что-нибудь!

А Иван Рыло пятится потихоньку к дверям и жужжит, как муха под осень:

— Пустите меня, люди добрые, у меня ничего нет. Мне никто ничего не дает, и мне нечего другим давать.

Недавно в селах началась смута. Как в улье, где дыму полно,— такое движение в селах началось. Люди объединяются в товарищества, читают газеты, голосуют за депутатов, собираются на сходки. И Ивана зовут к себе. А он ходит, как приبلудная овца. Что ему говорят, так он в одно ухо впустит, а в другое выпустит. Предложат ему что-нибудь сделать — не сделает, спросят его — не ответит. Обступят, бывало, его соседи и приятели, упрашивают:

— Читай, Иван Рыло, газету!

А Иван Рыло опустит уши, хвост подожмет — и:

— Моя хата,— говорит,— с краю! Это не про нас писано.

— Запишись, Иван Рыло, в наше общество!

— Я, видите ли... я не того!..— лепечет Иван Рыло.

— Пожалуйста, Иван, дай хоть какой-нибудь грош для нашего союза.

— Я не того...

— Иди, Иван, голосуй вместе с нами.

— Я не то, да я не се...

А как только люди оставят его в покое, Иван Рыло поднимет хвост, насторожит уши, всполошится, да и летит прямо к отцу Кабановичу, а потом к пану Дерншкурскому.

Отец Кабанович сразу же и начнет как по-писаному:

— Слышишь, Иван Рыло, издан такой закон, по которому ты обязан взять девять метрик и еще одну метрику. На каждую метрику нужны тебе гербовые марки по три лева и по сорок два с половиной крейцера.

Иван Рыло развязывает мошну, достает деньги и платит. Осталось у него еще три крейцера, так он и те отдал попу на свечку.

Или идет Иван Рыло к пану Деришкурскому, так еще на улице снимает шапку и в руках несет. Выходит ему навстречу пан Деришкурский, и они здороваются друг с другом. Иван Рыло целует пана Деришкурского в руку и в колено, а пан Деришкурский Ивана Рыло — в голову и в морду; но не целует, а дает такие оплеухи, что за околицей слышно! Падает Иван Рыло на колени, а пан Деришкурский ему кости мнет.

— Слушай, скотина! — визжит пан Деришкурский. — Ты должен голосовать за меня!

— Слушаю, вельможный пан! — пищит Иван. — Дай вам боже владеть и править!

Идет и голосует.

Да это все еще полбе-
ды, — не очень это людям во
вред! Но Иван Рыло имеет
еще одно такое свойство, что
волосы дыбом встают, когда
вы слышите об этом: Иван
Рыло умеет вселяться в дру-
гих людей! Вот, например,
стоит человек, а около него
Иван Рыло. И вдруг Иван
прыгнет, — и остается только
один человек, а Ивана Ры-
ло уже около него нет, пото-
му что, как видите, вселился
он в человека. Внешне чело-
век не изменился, — каким
был, таким и остался, но за-
говори с ним — и сразу уз-
наешь, что Иван Рыло в нем
сидит и враз сможет превра-
тить его в свинью, либо в
зайца, либо в какое-нибудь
другое животное. И вселяет-
ся Иван Рыло в людей тогда,
когда никто не видит, чаще
всего ночью. И несчастный
же тот человек, в которого
вселился Иван Рыло!



Встречаются раз на ярмарке двое старых знакомых, Петро и Семен. Вот Петро и спрашивает Семена:

— Ну, как вы живете? Ходите ли и теперь в читальню? Читаете ли газеты?

А Семен бросил взгляд в сторону, затрясся, как осенний лист на ветру, и еле слышно шепчет:

— Тише, ради бога! Отец Кабанович вон там стоят...

— Ну что ж, что стоит? — говорит Петро. — Он стоит, и мы стоим.

— Ну, знаете, — лепечет Семен, — он все же священная особа, а мы люди простые, — страшно!

Петро хотел ему что-то ответить, но Семен давай бог ноги, и след простыл! Петро удивился: «Эге, — размышляет, — что это с ним случилось?» А что бы могло случиться? Иван Рыло вселился в него и обратил его в зайца!

Или встретился раз Грицько с Ахтемием; поздоровались, и Грицько спрашивает Ахтемия:

— Ну, кум Ахтемий, скоро выборы, надо что-то придумывать.

А Ахтемий ни с того ни с сего вдруг как из пистолета выпалил:

— Наплевать мне на ваши выборы! Вы мне заплатите? Не хочу я больше с вами дружбу водить: я себе таких нашел, что мне за каждое слово деньги дают!

И исчез. А Грицько только сплюнул.

— Что это он? Не с ума ли спятил?

Нет. Это в него вселился Иван Рыло и превратил человека в свинью.

Сейчас Иван Рыло очень мутит народ. Ходит он среди людей и днем и ночью, и все приглядывается — в кого бы вскочить! Особенно во время выборов он обретает великую силу. Остерегайтесь, люди добрые, Ивана Рыло, потому что он в человека в один миг вскакивает, как мошка в глаз.

НАЙДЕННАЯ РУКОПИСЬ ОБ УКРАИНСКОМ КРАЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Совсем недавно работа филологов увенчалась величайшим успехом: обнаружена древняя римская рукопись, которая, бесспорно, повествует о нашем крае... Вне всякого сомнения, рукописей подобного содержания должно быть больше, но они, очевидно, погибли все из-за того, что вновь образовавшиеся народы не понимали их и считали те страшные вымыслы, которыми грешит и наша рукопись, чем-то несостоящим внимания потомков.

Наша рукопись, которую мы решились недостойной рукой перевести на украинский язык, содержит в себе тоже много таких вымыслов, но вместе с тем передает и некоторые приметы нашего края и народа, из чего можно вывести заключение, сколь высока была культура в те давние времена в нашей родной стране.

Не все удалось перевести дословно: а слова «*missicus*», «*rapnus*», «*rorrus*» мы оставили совсем непереверденными, ибо не могли понять их смысла.

ПЕРЕВОД

Где-то там далеко-далеко на севере, за лесами, за горами да за скалами, находится страна, враждебная для своих жителей.

Ни винограда, ни оливкового дерева там не произрастает. Реки и озера большую часть года покрыты седым мертвым льдом. Леса и луга не оживляются пеньем

разноперых птиц и криками зверей. Стоят те леса угрюмые и недоступные; стволы деревьев их окутаны толстой корой; земля их устлана увядшей листвой; живут в них дикие воны, которые питаются этими листьями. А если какой-нибудь неосторожный зверь или птица опрометчиво заберется от нас в ту страну, то, пораженный безнадёжным видом того края, от страха бежит к нам обратно.

Однако там живут люди, которых, видимо, загнали туда еще в древние времена ратные дела, и они не смогли вернуться назад в людскую среду. Не много у них радостей, ибо природа слишком неприветлива: голубое небо не веселит сердца этих людей, а бог Аполлон ездит в своей колеснице над густыми черными тучами, которые пожирают солнечные лучи.

Но боги вознаградили жителей этого безрадостного края жизни другим путем. Дали им мудрую рабочую скотину, что работает сама, без понукания. Эта скотина зовется мужикус.

Путешественники, которые гордятся, что были в тех краях, повествуют о мужикусах странные вещи, чему и поверить нельзя. Но мы слышали собственными ушами от одного (впрочем, очень достоверного) повествователя, как он клялся всеми святыми, рассказывая странные и диковинные вещи об этих мужикусах. Неоднократно приходилось нам, нашим друзьям и приятелям слышать повествования высокопоставленных лиц, которых ратное дело загнало в те самые края. Повествователи часто ничего не знали друг о друге, но рассказы их были схожи до мельчайших подробностей. Нам вообще не приходилось слышать разногласий в повествованиях об этих мужикусах.

Лицом эти мужикусы будто бы очень похожи на людей: они справляют себе одежду и носят ее и даже строят себе хаты. Мало того, мужикусы эти как будто умеют говорить и называют людей «паннус» или «поппус».

Однако хотя и нельзя сомневаться, что Юпитер наделил всякую скотину даром речи, но трудно поверить, чтоб человек понимал эту речь. Все-таки повествователи, рассказывая об этом, клялись страшными клятвами, что это правда.

К тому же говорят еще, что мужикусы служат людям лучше, чем нам лошади или воны, мулы или ослы. Толь-

ко мясо этих мужикусов не едят: говорят, что оно очень жесткое и невкусное.

Эти мужикусы будто бы пашут, сеют и снимают урожай, а собранное огдают людям, ничего не оставляя себе, разве только чтоб просуществовать; больше никогда, а меньше очень часто.

Эти мужикусы живут совместно с лошадьми, быками и овцами и заботятся о них больше, чем о себе. И то зерно, что не отдают людям, отдают лошадям, либо волам, либо овцам, себе же ничего не оставляют, разве только чтоб просуществовать; больше никогда, а меньше очень часто. Умирают мужикусы в тяжелом труде, и смерть всегда застает их на работе.

Приравнивают их усердие к пчелиному или муравьиному. С той только разницей, что пчела или муравей обороняются от человека, который отбирает себе их добро, а мужикус сам добровольно отдает все свое человеку, себе ж ничего не оставляет, разве только чтоб просуществовать; больше никогда, а меньше очень часто.

Поэтому человек ни о чем не беспокоится, мужикус все для него приготовит: и хлеб, и молоко, и мясо, и быков, и лошадей, и овец. Сам все по доброй воле отдаст и только тем живет, чтоб помочь человеку.

На рассвете — у нас еще и птица не проснется — мужикус вскакивает, будит лошадей, волов и овец, чтоб вместе до восхода солнца хорошенько потрудиться. Говорят, мужикус только работой и живет, а отрешит его от работы, он бы умер.

Мужикусы ютятся парами. Самец и самка вьют себе гнездышко и строят помещения для лошадей, волов и овец. Для себя строят из соломы и глины низкие и тесные жилища. А для лошадей, волов и овец — просторные деревянные постройки. Такова будто бы кроткая и добродушная скотина этот мужикус.

В том краю есть один месяц в году, когда нельзя работать, во-первых, потому что очень короткие дни, а во-вторых, выпадают глубокие снега.

К этому времени спариваются мужикусы и плодятся. Самка не высиживает молодняк из яиц, а родит детенышей живыми, чаще только по одному, но бывает, что самка родит и по двое и по трое детенышей.

Молодняк с первых шагов проявляет большую охоту к работе. Но перед человеком испытывает врожденный

страх. Стоит только человеку показаться, как молодняк поднимает страшный крик. Детеныши плачут, орут и, дрожа, удирают врассыпную во все стороны. К работе детеныши приступают, как только малость подрастут, и многие из них умирают еще в малолетстве от непосильного труда.

Питается мужикус объедками. Отдает весь хлеб людям, волам, лошадям и овцам, а себе берет одни остатки. Остатки эти мочит в воде либо квасит, а то даже и варит,— потому что с огнем как будто умеет обращаться,— и так питается. Есть-то он ест, но только до восхода солнца или после заката, ибо днем из-за работы некогда.

Говорят, будто мужикусы и деньги зарабатывают: такая это смышленная скотина. Они продают людям те плоды земли, что оставляют себе для пропитания. Продают будто бы людям и домашнюю скотину — своих товарищей, которые помогают им в тяжелой работе. Вот так отрывают пищу у себя и своего молодняка,— сами же страшно голодают,— и меняют эту пищу и своих рабочих товарищей у людей на деньги, потому что очень любят блестящий и ценный металл, подобно сороке или вороне.

Эти деньги, однако, спустя некоторое время возвращаются обратно к людям. Для этого люди прибегают к всевозможным странным и хитрым приемам. Мы слышали только о трех таких приемах (а их как будто больше) и дивились диву дивному, слушая о них, и не могли поверить, как ни уверяли нас повествователи, что это правда. Первый прием такой:

Люди передают мужикусам маленький листок папируса (в коем, видимо, есть таинственная сила), после чего все мужикусы, сжимая деньги в кулаках, сходятся и, плача, рыдая и дрожа, отдают блестящий и ценный металл в пользование людям. Этот прием называется администратия. Второй прием такой:

Люди выжимают из зерна мужикуса руками того же мужикуса странное пойло, заправляют его жгучими зельями, серой и солью, так, что пойло это приобретает очень острый и обжигающий вкус. Мужикусы будто бы за это пойло отдают все свои деньги людям. А то бывает и иначе: если мужикус, отдав все зерно людям, голодает, люди снабжают его всякими отбросами и за это берут у него деньги. Этот прием называется индустрия и торговля. Третий прием такой:

Люди строят по селениям мужикусов руками тех же мужикусов большие дома и вешают внутри всякие блестящие предметы из стекла, нередко также из серебра, золота, меди и железа, зажигают там свечи, звонят в большие колокола, на звон которых сбегаются мужикусы. Они часто очень издали бегут сломя голову, задыхаясь от быстрого бега, и по дорогам толкаются, дерутся и уродуют друг друга, потому что каждому хочется первому ворваться в это большое здание. В этих зданиях люди надевают на себя маски, выделяют всякие мудреные выкрутасы, выкрикивают уйму бессмысленных слов и звонят при этом то в маленькие, то опять в большие колокола. Этому искусству тамошние люди научились, должно быть, у греков, у коих, как известно, театральное искусство находилось на высоте. Мужикусы при виде такого лицедейства приходят в неистовство и, не помня себя, невольно подражают голосу и движениям актера. К таким одурманенным мужикусам подходят люди и отбирают у них все деньги. Этот способ называется «культура».

Еще более удивительные чудеса рассказывают о тех мужикусах, так что, слушая, не хочется верить ушам своим. Вот мы тут и перескажем все, что запомнили.

Люди будто бы учат этих мужикусов и ратному делу. И мужикусы якобы обладают таким острым нюхом, что узнают по запаху, свой это человек или неприятель. Мужикусы выполняют службу рядовых воинов, а люди — сотников и вождей. Эти мужикусы будто бы очень отважно сражаются, смело нападают на врага, невзирая ни на боль, ни на страшную смерть, и охотней готовы погибнуть от вражеского оружия, чем позорным образом сдаться или бежать. Люди набирают мужикусов в войско очень странным путем.

Присылают в их селения несколько листов красного папируса (в котором, видимо, также есть притягательная таинственная сила). Тогда сходятся все мужикусы, отбирают уже взрослых молодых самцов, срывают с них одежду и голых, окровавленных и растерзанных, насильно уводят к людям. При этом мужикусы поднимают страшный, душераздирающий рев, безумный плач и ропот. Причитанья их разносятся на много миль окрест. Точь-в-точь, словно на них напал мор от повальной заразной болезни или все они были смертельно ранены, — такое поднимают причитанье. Самцы и самки с отчаянья

бьются головами о деревья и камни, рвут на себе волосы и одежду, но все-таки насильно провожают молодых самцов — голых, дрожащих от страха, — в войнство, дабы они своим здоровьем и жизнью защищали людей.

Будущие поколения! Наши потомки! Вон сколько сведений о том чуде, о тех мужикусах сохранила для вас наша слабая память!

Правда ли все то, что повествуют об этих мужикусах, неизвестно. Однако мы думаем, что, может, и не все, но многое в этом — правда. Если могут быть кентавры, сирены и тому подобные чудовища, то почему бы и таким мужикусам не быть где-то на свете. Ведь боги сотворили не только хорошее и красивое, но также всякую диковинную и страшную погань. А кто может постигнуть далеко и глубоко проникающие замыслы богов?! Многие удивляются, почему так или этак существует то или другое, а у богов это обычное явление.

Кое-кто думает, что мужикусы тоже люди. Но это не может быть правдой. Неужели возможно, чтоб человек человека, то есть брат брата (ибо все мы братья), решился так оскорблять и унижать. Чтоб человек человеку делал такую гадость? А с другой стороны, возможно ли, чтоб человек позволил так глумиться над собой и не сбросил с себя позорного ярма?! Ведь всем нам известна древняя история нашей империи, и мы знаем, какой бунт и какую резню подняли невольники, когда им стало тяжело жить.

В самом деле, если мужикус человек, за кого же нам считать тамошних людей, коих будто бы мужикусы зовут «паннус» или «поппус»? Неужели может быть, чтоб человек доходил до такого зверства и так оскорблял своего брата. Действительно, если мужикусы люди, то тамошние люди не иначе как бешеные волки.

Понятно, что и боги не причиняли бы людям такого горя и не поганили бы так род человеческий.

МУЖИЦКАЯ СМЕРТЬ

I

Его называли Банатом, настоящее же его имя было Гриць. Банатом его прозвали потому, что он служил в армии в Банате, в Венгрии, и рассказывал не раз о своем житье там.

Он был женат второй раз, на Калине, ныне Грицихе, у которой в одной ноге был «роматизм» и которая не могла передвигаться без палок.

Имел привычку каждое воскресенье напиваться.

Когда напивался, совершенно забывал о том, что женат: считал себя вдовцом и все вспоминал покойницу.

— Это потому,— говорили соседи,— что с первой хорошо жил, а на другой женился оттого только, что хозяйину без жены — никак.

Каждое воскресенье Гриць бушевал. Выходил из хаты на запущенный, поросший бурьяном двор, останавливался возле лужицы, из которой куры пьют воду, и начинал.

— Где плетень со стороны улицы? — спрашивал он сам себя.— У каждого есть плетень, а у меня нету? А я что, хуже хозяин, чем вы? Э-эх, богатеи! Нет плетня, одни только колья! А раньше был плетень. Еще при покойнице жене... Она мне еду варила, когда я его ставил. Моя хозяйшкa! Бывало, плетень ставлю или около хаты что другое делаю,— может, нет? (он произносил это с особым нажимом, точно спорил с кем-то) — а она, бывало, покойница-то, станет на пороге — и: «Гриць, говорит, иди полдничать». Я оставляю работу,— может, нет? — и вхожу в хату. А там уж стоит стол, накрытый белой скатертью,— может, нет?! Праздничная скатерть. А там уж стоит бутылка на столе, с водкой. Подает она миску с

яичницей, подает миску с картофельной похлебкой, подает молочную кашу, подает пахучую кулешу с сыром. Как солнце! Ешь, пей и веселись!

Но Гриць привязывался не только к плетню, он задевал также и кур и ворон. Даже нашему ни в чем не повинному, обросшему длинной козьей шерстью псу с ласковыми слезящимися глазами, не давал Гриць спокойно пробежать мимо.

Гриць вступал в беседу и с проходящими людьми. Мимо его хаты каждое воскресенье проходил молодой парень Петро, направляясь в читальню. Он был секретарем читальни, и Гриць за это его ненавидел.

— Куда идешь, Петро?

— А куда же? — отвечал Петро. — Иду на танцы. Дал бог воскресенье, так молодежь хочет в праздник позабавиться.

Гриць понимал, что Петро его дурачит.

— Ой ли! Да ведь и я был молодым. Может, нет?! Но раньше не такие были забавы, как нынче. Раньше были парни, а теперь что? Одна дрянь!

— А разве раньше были другие люди? — перебивал с озлоблением Петро.

— Но-но-но! — успокаивал его Гриць. — Не про тебя речь, а про других.

— А другие кто ж?

— Но-но-но! Ты разве не знаешь, что каждый цыган своих детей хвалит? Может, нет?! Это я так. Ты, Петро, как говорится, возьми в толк. Теперь не то что парни хуже, а времена хуже стали. Может, нет?!

После этого дискуссия сворачивала на худые времена.

— Как это времена хуже, — спрашивал Петро, — почему хуже?

— А потому что хуже! — уверял Гриць. — Раньше парни только забавы и знали, а теперь что — беда!

— А разве раньше парни были панами или как?

— Но-но-но! — доказывал Гриць. — Это ты не туда. Раньше, бывало, если соберется челядь близ корчмы, так проводит в забавах весь день. А день раньше был не то, что теперь. Погода на дворе такая, что прямо сердце радуется. Может, нет? Да и день был длинней.

— А теперь как? — спрашивал Петро. — Тоже ведь хорошая погода: а если дело летом — так и день тоже вдвое длинней, чем зимой.

— Э, толкуй! Погода погоде рознь, да и день — дню! А раньше, чтоб ты знал, сутки были длинней. Может, нет?! Бывало, в воскресенье как заведем танцы у корчмы, то натопаешься, голубок, вволю, пока солнце не зайдет. Или в Банате, бывало, выйдешь на муштру, а там как распустят колонны по чистому полю, так столько раз ранец вскинешь!..

— Так это, дядя Гриць,— перебивал Петро,— не день в том виноват, а, видно, к танцам охоты не было, и ранец, видно, был такой тяжелый, что давал себя знать до захода солнца.

— Что ты со мной споришь! Я тебе истинную правду говорю, что раньше сутки были длинней — и ночь и день; а теперь: чем дальше — то короче!

Петро смеялся:

— Так, по-вашему, еще к тому придет, что будет час день, а час ночь. А после этого уж и такое наступит, что не будет и дня, разве что так: то темно, то светло, то темно, то светло,— будет мигать перед глазами, и люди станут друг о дружку головами стучаться.

— Экой ты какой, голубок! Меня, старика, на смех подымаешь?!

Петро уходил, а Гриць бранил и молодежь и читальню.

Гриць в воскресенье никогда, пожалуй, по собственной охоте не вошел бы в хату. Его зазывала туда двадцатилетняя дочка (от первой жены) Василина. Босая, она подходила вплотную к Грицью, дергала его за рукав и говорила шепотом:

— Дедю ¹, идите ужинать!

Гриць оборачивался, удивленный, с минутку раздумывал и шел в хату.

От Василины за несколько шагов разило потом. Все девушки каждую субботу моются со щелоком почти до пояса. Василина, очевидно, не делала этого, так как не хватало времени: она заменяла в доме хозяйку и работала в поле, а мачехе и в голову не приходило, чтоб девка была мыта.

— Такой я сейчас добрый-предобрый, как молоко,— говорил Гриць, входя в хату; однако его убитый вид отнюдь не свидетельствовал о «молочном» настроении.

¹ Д е д я — тятя, отец.

— Тьфу ты, пьянчуга! — отвечала ему Грициха с печки. — Ты с ума спятил? Что плетешь, не видишь, что образа в хате?

— Но-но-но, жена, бог с тобою! Человеку, как говорится, хочется пожить в свое удовольствие: на то бог и воскресенье дал. Всю неделю работаем, как говорится, в поте лица, а...

— Эх ты, работник мой! — даже нараспев начинала говорить Грициха. — Иди уж, иди, голодранец! Еще когда-нибудь загорится в тебе эта водка! И ни стыда, ни совести нету! Уже поводыря надо; одной ногой в могиле, а как напьется, так немногого не хватает, чтоб начал на стену лезть!

Гриць бормотал что-то себе под нос, а потом обхватывал темными костлявыми руками голову, садился за стол — и:

— Убила меня, — говорил он, — убила наповал!

От заправленной черт знает чем водки у него болела голова. Василина подавала ему ужин и шла готовить постель.

II

Был ли он пьяницей?

Варвара, дочь Павла, чернявая, высокая и стройная девушка, набросилась однажды в поле на Василину, так как Василина кому-то насплетничала о ней.

— Ты сплетница! — кричала Варвара. — Болтай по селу про себя да своего отца-пьянчугу, а не про меня, а то я тебе сейчас все косы повыдергаю.

Василина обычно смотрела в землю, и поэтому о ней говорили, что она «сомнительная». Но тут она искоса взглянула на Варвару.

— Брешешь, Варвара, я про тебя не сплетничала, а про отца ты не смей!

— Бреши сама вместе с псами, ты, чучело вонючее! Ишь от тебя воняет, как от хорька! А отец твой пьяница; малым детям известно, что он пьяница!

Василина ушла от нее. Она продолжала свой путь совершенно спокойно, будто ничего не произошло.

Варвара кричала ей вдогонку:

— Берегись-ка ты, кислятина зеленая, остерегайся меня, как огня, а то как прослышу еще разок про ка-

кую-нибудь сплетню, так разорву тебе рот от уха до уха, посреди села разорву!

А соседка Гриця, старая Семениха, поймала как-то его сына Николу в своем саду на яблоньке. Ссадила его и отхлестала, не жалея собственных рук.

Поднялся крик. Соседи выглядывали из-за плетней. Вышла на шум и Грициха и стала уверять, что Никола подобрал только одно валявшееся на земле яблоко, на яблоньку же вовсе и не взлезал.

Семениха даже руки заломила от злости:

— Эй, люди добрые! Да из-за этого воровского семени мне нельзя будет и стебелька во дворе уберечь: разнесут же все как есть! Маленький вор украл, а старая воровка его покрывает. Ты, хромая ведьма, учишь детей воровать! Ты мужа на нет свела. При первой-то, при покойнице, Гриць порядочным хозяином был, а из-за тебя он теперь и пьяница и лодырь! Да лучше б ему, ей-богу, было повеситься, чем испортить себе жизнь с такой хромой ведьмой!

Грициха замахнулась на нее палкой.

— Убейся-ка ты, мерзавка! Я тебя в суд потащу за то, что ты меня ведьмой обзываешь. Пусть люди свидетелями будут! (При этих словах соседи спрятались за плетнями.) А я присягу дам, что ты ведьма! Я знаю, что ты ходила голая вокруг хаты с глиняной квашней на голове!

Был рабочий день: мужчин дома не было, одни женщины. Поэтому Семениха довольно долго судачила потом с Процихой. Проциха кормила обвислой, высохшей грудью ребенка и говорила:

— Истинную правду говорите, Семеничка: это она свела Гриця на нет. Какой он стал теперь! Совестно на люди показаться: даже в воскресенье в грязной рубаше! Не заботится она ни о муже, ни о Василине. Девке уже двадцатый год, а человек никак ей не попадет. А все из-за мачехи!

— Дряннь, говорю вам! Да я ж еще помню его первую жену. Жили, как говорится, в мире да в радости. Было у них двое детей. Старшая, Мария, померла уже замужем, при первых родах. А эта младшая, Василина, какая ж она стала! Сомнительная она — человеку и в глаза прямо не глянет, все в землю. А во всем та виновата.

— Гриць уж так тужил по первой, по покойнице! Ходил целую неделю, будто чем-то опоенный: ни работа его не тянула к себе, ни еда. А потом — что поделаешь? — женился. Да кабы жена порядочная! А то ведь попалось такое отребье, что от нее не то что работы, а и доброго слова не жди. Хромая ведьма, и все тут!

— А вы думаете, с чего он запил? Да с первой, с покойницей, — ого-го, хозяин был на все село! А теперь? Вот злодейка: и сама не подыхает, и другим жить не дает, прости меня господи! Грехи!

И отец Антоний тоже считал Гриця пьяницей. Вскоре после того как Гриць женился вторично, священник позвал его к себе.

Отец Антоний был человек старой закалки, заядлый табачник. Он принадлежал к числу «твердых русинов»; говорил с женой и детьми по-польски, а на мужиков наседавал, чтоб они не употребляли слов «це», «цесе», а — «се», «сей».

— Учит нас сеять! — говорили люди.

Гриць вошел в комнату, поцеловал священнику руку и начал рассматривать испуганными глазами портрет, висевший над маленьким бюро: он еще никогда не видел такого «страшного угодника».

— Послушай-ка ты, Гриць (пан-отец «тыкал» всем), я спрашиваю тебя, почему ты запьянствовал? И не срам тебе? Ты же ведь как-никак хозяин!

Хозяин глянул жалобными глазами на портрет.

— Прошу божьей милости и вашей, да когда ж я? Случилась пару раз такая оказия — что правда, то правда, был я малость навеселе, но чтоб запьянствовать, так... ей-богу, я не того... знать не знаю, и конец.

Отец Антоний взял понюшку и начал Гриця, как говорит, честить на все корки:

— Ты, такой-сякой, должен мне дать зарок насчет водки, понимаешь?

— Да понимать-то я понимаю, но дать зарок... это уж нет!

— Как? Что? Почему? Ты не хочешь дать зарок насчет водки?

— Потому как она из хлеба, — произнес Гриць не совсем уверенным, но убеждающим тоном.

С зарокom ничего не вышло.

— Подожди, подожди ты, лодырь! Еще явится коза к возу.

И коза явилась.

— Затаил поп против меня злость,— сказал Гриць жене спустя некоторое время, придя с крестин.

— Почему? За что?

— А откуда я знаю?

— А откуда ты знаешь, что он затаил злость?

— Как — откуда? Гляди-ка, окрестил ребенка Ерстиною!

— А ты куда глядел?

— Да я говорил: «Крестите, говорю, Ериной», а он окрестил — «Ерстина».

Через два года священник окрестил мальчика Родионом.

— А как хлопчика назвали? Ты сказал, чтоб Николой?

— Да сказать-то я сказал, но коли он против меня злость затаил? Вот и не угадаешь, как назвал... Редькову назвал!

— Ой! А ты что? Как же так, чтобы хлопец да звался Редькова?

— Пойди его спрашивай. Я ему говорю: «Никола», а он: «Крещается, говорит, раб божий Редькова», — и все!

Впрочем, Эрнестину все звали Ериною, а Родиона — Николой.

Однако Гриць не был таким пьяницей, как другие. Пьяницей обычно считается тот, кто пьет в корчме и пьет постоянно — есть ли компания или нет, имеется ли повод или нет. Гриць был не таков. Он почти никогда в корчме не пил. Приносил всегда водку домой. Только и было у него то общее с пьяницами, что пил в одиночку, не ища компании.

Гриць «жил в свое удовольствие» только по воскресеньям. В будни ходил на поле, как и всякий. Но тогда почти ни с кем не разговаривал. Сосед Иван, имевший грамотную жену, не раз говорил, что «Гриць выговорится в воскресенье на всю неделю и потом всю неделю уже не нуждается в разговорах».

Грициха — из-за «роматизма» — ходить не могла. Она вечно пряла. Пряла односельчанам шерсть или пеньку и за это получала «ради детей» то муку, то масло.

Василина и домашнее хозяйство вела и работала на поле. Помещичий эконо́м, родовитый шляхтич, который был когда-то крупным чиновником, но обворовал кассу

и отправился «на утшимане родакуф»¹, считал Василину почти что помещицьею батрачкой. Когда ему требовался работник, он шел к Грицю и кричал еще с улицы:

— Василина, ты дома? Разве ты не знаешь, что у меня работа? Катай на поле!

Василина зарабатывала столько, что хватало и нанять плуг (у Гриця было два надела и огород),— ну и Грицю на водку.

III

Это происходило в среду после страды. Был какой-то церковный праздник, в поле никто не работал. В сельской канцелярии за столом, под образами, сидел писарь Василь; у окна, за тем же столом, войт; а Семен, касир и присяжный² — поодаль, на скамейке.

Канцелярия помещалась в хате Семена. Сам он жил на одной половине, а другую уступил под канцелярию.

Все сочувственно смотрели на писаря, который даже вспотел, читая уведомление от уездного начальника. Да и было отчего вспотеть!

Уездный начальник, ревностный защитник краевой автономии, всячески преследовал это сельское правление.

Село, видите ли, заупрямилось и выбрало в правление исключительно противников помещика. Уездный начальник назначил вторые выборы. Село опять выбрало тех же самых лиц. Начальник назначил третьи выборы и явился на эти выборы сам.

Старый войт перепугался: он первым проголосовал за новых членов правления. Проголосовали еще несколько кандидатур, а так как начальнику показалось, что это и весь помещичий список, то он проделал избирательный трюк, придуманный польской шляхтой в восточной Галиции: закончил на этом голосование, хотя голосующих было еще изрядное количество.

— Остальные голосовать не будут, это сплошь лодыри,— решил начальник и уехал.

Только тогда, когда новое сельское правление приступило к исполнению своих обязанностей, начальник понял, что сам себя оставил в дураках. То-то было проклятий!

¹ На содержание родственников (польск.).

² П р и с я ж н ы й — сельский полицейский.

— Да ведь там только лодыри, разбойники, воры! Не верь ни мужику, ни собаке. Я им задам, я им покажу!

Больше всего досталось писарю Василию. Новое правление уволило прежнего писаря, который являлся правой рукой уездного начальника и обворовывал кассу, и выбрало писарем Василия. А Василь в писарском деле был пока только начинающим. Учитель немножко подучил Василия «краебому языку», и Василь знал уже, что «рачи звешхность гминна» не означает: пускай село лобит раков, а «полеца се» не означает: бить по лицу; однако к канцелярскому стилю он никак привыкнуть не мог.

— Послушайте, Василь,— сказал ему раз учитель,— вас бросает в пот оттого, что на каждой бумаге всегда стоит в самом начале: «Высокое ц. к.¹ министерство указало рескриптом от такого-то дня по такое-то число, а высокое ц. к. наместничество от такого-то дня по такое-то число»,— но все это вам совершенно ни к чему. Что вам министерство и наместничество? Вы читайте только конец,— там и есть то, что вам требуется.

— А этого не надо?

— Не надо.

— А зачем же пишут?

— Гм, гм, зачем пишут? — Учитель с минуту подумал.— А почему ставят над «і» точку? Ведь и без точки все равно было бы не «а», а «и».

— Верно.

Но только Василь никогда не знал, что оставить без внимания, а что читать, а тут еще и староста нажимает.

Поэтому-то Василь и потел над бумагой, между тем как присяжный говорил Семену:

— Ох, читать — это тебе не цепом махать!

— А как же вы думали? Тут работа головой...

В хату вошел Гриць, измученный и худой, с глубоко запавшими глазами. Видимо, больной. За ним высокий седой еврей Борух. Его прозывали «Короп»², так как он был очень тощ. Гриць начал говорить, не поздоровавшись,— признак, что дело у него весьма важное.

— Прошу вас, пан войт, и вас, пан писарь, и вас, паны выборные. Сперва прошу милости господней, а потом — вашей: вы уж мне помогите, помирите вы нас. Короп хочет меня со свету сжить.

¹ Цесарско-королевское.

² К о р о п — карп; рыба.

Короп замахал руками.

— Я от тебя ничего не хочу, ты мне верни мои деньги.

— Откуда ж я тебе, добрый человек, денег возьму? Не вылуплю же я их из колена! Потерпи, я из села пока еще не убегаю. Раздобуду — тогда отдам.

— А я разве тебя взашей толкаю? Нету — так не отдавай.

— А чего ж ты хочешь? Побойся бога, где у тебя сердце, Борух! Зачем ты меня режешь без ножа?!

— Да обождите же, говорите по порядку: как все вышло, что такое у вас? Откуда ж я могу сам знать? — произнес войт — по своему обыкновению, медленно и раздельно, точно учил молитвам малое дитя.

— Было это так,— начал Короп, но Гриць перебил его:

— Обожди, дай я скажу!

Войт предоставил первое слово Грицю.

— Ты, Короп, погоди, пускай Гриць говорит, а потом ты свое скажешь.

Короп не возражал.

— Пускай говорит Гриць.

— Это вот как было,— начал Гриць.— Между мною и Борухом ничего не было, никаких дел я с ним не имел, и насчет земли, поля не было у нас ни слова разговору. Может, нет?! Говори, Борух, тут, при людях, пусть пан войт слышит с самого начала, и пан писарь, и люди. Говори: так или не так? Был у нас разговор про землю?

— Гриць, ты говори дальше, а я свое скажу, когда ты кончишь,— быстренько произнес Короп.

— А я вот тут побожусь сто раз, а не раз, перед всем обществом, в церкви побожусь у престола; и я побожусь, и жена моя, и дети мои, что я Боруху про землю и слова не сказал. Пусть он присягнет, а хотите — я присягну. Вот сюда положите крест, зажгите свечи, я дам присягу. А нет — приведите раввина, пускай Борух побожится. Пускай Борух побожится, что был разговор, а я побожусь — что неправда. Пусть он поклянется своей душой, а я поклянусь своим здоровьем — что неправда. Пускай он поклянется своими детьми, а я поклянусь своей скотиной. У меня всего одна свинка и коровенка, а вот сейчас, тут, своей скотиной поклянусь. Да вы сами посудите, пан войт, и вы, пан писарь, и вы, паны выборные, вы в нашем селе начальники,— вот же не сойти мне с этого места,

чтобы руки у меня отсохли, чтоб мне глаза белками наружу выворотило, коли я с Борухом про землю хоть одно пустое словечко сказал. Что правда — то не грех. Может, нет?! А сегодня утром приходит Борух и ни с того ни с сего говорит, что мою землю с торгов продает; говорит, что я расписку дал на землю. «Ты, говорит, расписку выдал мне на землю». Жена толкла на шестке кулешу, а как услышала слова Боруха, пест у нее в руках так и застыл. Ты мне, знай это, жену перепугал! Жена — ко мне: «Ты такой-сякой, ты землю потерял, ты лодырь, ты пьяница!» — и ну срамить. Позор на все село! Жена в слезы, дети в слезы, а я стою ни жив ни мертв. Это обман, Борух, ты обманом берешь, потому будь я хоть в чем грешен — так ведь и этого нет!

Наступила очередь Коропа.

— Подожди, подожди, Гриць, ты плетешь ни то ни се. Вот послушайте, пан войт, что было между нами...

— Нет,— стоял на своем Гриць,— про землю я ему ничего не говорил.

— Да что с тобой? Я о земле и не говорю тебе ничего.

— Крутишь, сам видишь, что крутишь! Не крути, Борух!

Короп потерял терпение.

— Чего ты хочешь от меня? Я не с тобой говорю, а с войтом. Слушайте, пан войт. Он взял у меня займы на вознесенье, десять лет тому назад, сто левов под проценты: говорил, что должен уплатить долг в банк. Я ждал, ждал этих денег, а он все не отдавал и не отдавал. Я подал на него в суд, и по судебному постановлению он подписал соглашение, что обязуется вернуть мне в течение трех лет частями двести левов. Он обязательства не выполнил, и я по закону получил право на владение его землей. Он мне не платит долга до сих пор, и вот я хочу пустить его землю с торгов. А чтоб люди не говорили, что я плохой человек, я сам не стану на эту землю торги объявлять. Я продам ее банку, а банк уж сам пустит ее с торгов. Я пришел к нему подобру, как к человеку, чтоб сказать: верни мне мои деньги. А если нет, я продам землю с торгов. А чтоб люди не говорили, что я плохой человек, я продам ее банку, пускай банк твою землю пустит с торгов. А он ко мне...

— Что я к тебе? — крикнул Гриць. — Я ко всякому! Кто посмеет на мою родовую землю, на мой труд посягнуть, тому я — вот тут, при людях говорю — топором

голову раскрою и сам в тюрьму пойду гнить, а ты пойдешь сырую землю грызть.

Приплелась Грициха. Из-за «роматизма» она не могла прийти вместе с мужем. В канцелярию она не входила. Остановилась в сенях, прислонилась к косяку, заткнула кудель за пояс и принялась сучить, вытянув далеко вперед шею, чтобы слышать, о чем говорят. К ней вышла Семениха (они уже не сердились друг на дружку) и тоже остановилась в сенях, словно нехотя прислушиваясь к разговорам в канцелярии. Не бабье, мол, дело!

Тем временем Короп вытащил какую-то бумагу и подал ее писарю Василию.

— Что там долго разговаривать? Вот соглашение, ты его подписал в суде. Пускай пан писарь прочитают и скажут.

Пан писарь поскреб в затылке. Он знал, что, поглядев в эту бумагу, должен будет заявить: я тут не разберусь, тут требуется пан учитель! Но нет! Эта бумага была уже известна Василию. Короп уже приносил ему однажды это соглашение, и Василь читал его вместе с учителем. Учитель объяснил Василию, что в ней значится. Это было не соглашение, а решение суда о взыскании долга путем продажи недвижимого имущества должника. Василь пытался теперь лишь отыскать в бумаге то, о чем говорил ему учитель. Но это ему никак не удавалось. Он удивлялся, каким образом учитель мог оттуда все это вычитать?

— Да что ж, дядя Гриць, верно: соглашение. Вы дали подписку, что заплатите. А раз не платите — то суд разрешил ему войти во владение землей.

Гриць пожал плечами.

— Я никакой подписки на землю не давал.

— Давали вы или нет, а закон говорит, что Короп имеет право взыскать с вас долг, продав землю.

Грициха высунулась из-за двери:

— Как же это так? Для Коропа есть закон, а для нас вовсе никакого закона нет?

— Да, да,— добавил Гриць,— закон для всех одинаковый.

— Что ж это за закон такой? — продолжала Грициха.— И с каких это пор так на свете пошло, чтоб отдавать землю из надела детей в руки ростовщику? Я глупая баба, но, мне сдается, нет такого закона, чтобы у кого-то землю отобрать, а ростовщику ее отдать.

— Я такого закона не принимаю,— решительно за-

явил Гриць.— Коли у вас закона для меня нет, так я пойду в другое место: я знаю, куда двери открываются.

Тогда заговорил войт, медленно и раздельно:

— Да погодите вы. Я для вас никакого закона не могу установить, это уже сделал суд; суд выше меня. А с этим вот как обстоит дело, дядя Гриць. Ведь вы же помните покойного Гаврилу? Какой был богач! Под пару ему никого в селе не было. А что он себе выстроил? Полез в банк, долга не уплатил,— и не пошло ли все его хозяйство с молотка? Пошло! А тоже кричал: «Ну-ка, мол, пусть кто-нибудь, мол, явится, я его, мол, зарежу!» А приехала комиссия — и хату его и всю землю его отдала пану. Еще и посейчас сидит в ней Кручка. Взял в долг — отдай, а нет — наедет комиссия, и конец!

— Так я ж не отказываюсь деньги отдать,— начал миролюбиво Гриць,— да только сейчас у меня нету. Откуда я их возьму?

Короп подошел к Грицю.

— Скажи мне по правде, откуда ты сможешь их достать? У тебя разве есть что-нибудь продать за двести левов или ты думаешь их где-нибудь заработать? Это же не двести крейцеров, это — сумма! Я тебе скажу правду: мне хочется купить у тебя участок под горой. Ты мне уступи этот участок, а я тебе выдам расписку, что мы поладили, что я удовлетворен. Все равно этот участок столько не стоит, никто бы тебе за него столько не дал.

Грицixa закричала:

— Я не позволю! Что это за мошенство! Ты, Короп, не смущай мне мужа, у меня дети! Мы кормим с того участка детей, да и самих себя. А ты, Гриць, упаси тебя бог! Эй, люди! Что он только придумал, что придумал?! Хочет меня с детьми по миру на старости лет пустить. Долюшка моя горькая!

— Я не беру силком. Я свое ищу: перевозжу на банк, пусть банк с торгов продаст.

Грицixa уронила на землю веретено и ухватилась обеими руками за косяк.

— Как же это так? Пан начальник! Ведь вы войт в нашем селе, а молчите?! Куда ж это годится! Эй, люди добрые! Что ж мне из-за лодыря из хаты с детьми убираться? Да мы ж, взгляните, калеки!

— Вечные калеки! — добавил Гриць.

— Он каждое воскресенье пьянствует, а я с детьми мучаюсь, и на старости лет мне под чужими плетнями

побираться? Наделал долгов, а меня с детьми по миру пускает! Да вас же общество войтом для того и поставило, чтоб вы правду меж людей блюли. А вы за бедных людей, за калек не хотите постоять!

— А как же мне за них стоять? — ответил войт. — Заплатить за вашего мужа или как?

— Да кто вам говорит — платить? Как? А так, значит, чтоб не было удержу лодырю, который детей с сумой пускает? Зачем же ты детей наплодил?

Войт разозлился.

— Замолчи, баба, не тарахти! Тут канцелярия, а не корчма! Тут управление производится!

Грициха в ответ на эти твердые и притом официальным языком выраженные слова притихла, продолжая громким шепотом изливать свое горе перед Семенихой:

— Посмотрите, соседка, наплодил, бездельник, детей, и теперь мне остается только идти домой да шить суму. Для него и для себя. Дети не просились же на свет родиться!

Семениха тоже так считала.

— Ой, правда, кума, правда: ребенок не просится на свет, не просится.

— Знаете, кумушка, — продолжала Грициха, — пришел сегодня утром Короп. Я сидела на лежанке и толкла кулешу, потому как я, немощная калека, не могу ничего стоя делать. Николка убежал куда-то на улицу, а девка (так она называла Василину) ставила горшки в печь. Ерина нанизывала на нитку бусы, а Гриць что-то делал в хате — то ли зубок к граблям тесал, то ли... Вот видите, я уж, ей-богу, и позабыла — так они мне голову заморочили!.. С ума схожу! А тут Короп, знаете ли, входит в хату: «Добрый день, доброго здоровья». Меня прямо что-то толкнуло, что-то мне прямо под сердце подступило: что этому, думаю себе, с самого раннего утра понадобилось? А он — Грицю: «Что, говорит, Гриць, поделываете?» — «А что ж, — говорит Гриць. — Дали мои хозяйки вчера ночью поросенку корму да позабыли ведро убрать. Поросянок залез в ведро да и высадил начисто дно. А теперь вот забавляйся: вставляй дно, сбивай обручи...» Вот видите, припомнила: Гриць ведро сбивал... «А вы что скажете?» — спрашивает Гриць Короп. «А что же? Ничего хорошего», — говорит Короп. А меня опять будто горячими угольками обсыпало. «Пришел, —

говорит Короп,— чтоб уж раз навсегда положить конец. Я жду от тебя, говорит, денег уж десятый год, а у тебя и в мыслях нет отдавать. Я пришел, говорит, сказать тебе, что пускаю твою землю с молотка. Ты, говорит, с землей распрощайся, а у меня мои деньги должны быть!» А я, знаете, как услышала это,— так меня словно бы кто обухом по темени хватил. И говорю вам, кумушка, как покатались из глаз моих слезы, ровно горошины...

Грициха заплакала.

IV

Когда они вышли из канцелярии, Грициха по дороге домой долго еще корила мужа. Гриць приостанавливался и молча выслушивал упреки,— точно вол, который сам подставляет шею под ярмо.

В воротах во дворе Ивана стояли Ахтемий и старый Михайло. Они всякий праздник, а также по воскресеньям, приходили к Ивану. Михайло, сам неграмотный, выписывал совместно с Иваном газету. Им ее читала Иваниха.

— Я и один выписывал бы ей газету,— говорит Иван,— ну да что уж! Молода еще, стеснительная больно. Если другие женщины станут языки чесать, что газеты, мол, читает,— так она, верно, со стыда сквозь землю провалится.

В селе ни у кого нет никаких тайн. И то, что Гриця «Короп хочет со свету сжить», было известно даже малому ребенку. Поэтому-то Грицихе не приходилось рассказывать все заново.

«Иду, люди, иду торбы шить! — приговаривала она.— Разорил нас, расточил весь наш труд. Глядите — пускает, злодей, своих детей по миру!»

Гриць пытался защищаться:

— Да что ж я? Короп замахнулся на мою жизнь!

— Злодей лукавый! Что ты врешь?! — возражала Грициха.— Тебя Короп заставлял каждое воскресенье пьянствовать? Тебя Короп силком заставил у него деньги одалживать?

И действительно, Короп не заставлял Гриця, отвечать было нечего; и Гриць молча плелся за женой домой.

Короп тоже вышел из канцелярии и, не обращая ни на кого внимания, что-то говорил сам с собой по-еврейски.

Михайло насел на него:

— Короп! Ты трудом людским живешь — и людям же пакости делаешь! Да если бы люди на тебя не работали, ты бы и дня не прожил. Ты человека опутываешь и высасываешь из него кровь, как паук из мухи.

Короп остановился.

— Я своего требую. Я высыпал ему на ладонь наличные. Это мои трудовые деньги, я их нигде не украл.

— Не украл, но и не заработал. Мы, рабочие люди, деньги трудом добываем, а вы, шелкоперы, их прикарманиваете.

Михайло имел привычку пользоваться книжными словами, услышанными при чтке газеты. Он так привыкал к этим словам, словно еще в детстве усвоил их, и был убежден, что эти слова понятны всякому.

Иван тоже вмешался в разговор. Он говорил Коропу «вы» и вообще никого не обижал, но умел и вежливыми словами задеть за самое чувствительное место.

— Да вы ж, Борух, поймите, что у Гриця дети. Егто вы уж не разорите, потому как ему самому уж немного осталось, но дети... Как вы с чужими детьми — так бог и с вашими. И не жаль вам детей? Почему они должны страдать за наши грехи?..

Короп не чувствовал за собой греха.

— Пусть мои дети страдают за мои грехи: на мне никакого греха нет. Требовать своего — не грех.

Он ушел, не обращая внимания на то, что Михайло чуть ли не искры метал — с таким жаром разглагольствовал.

— Вот так-то люди и попадают в беду! Гриць одному святому духу должен! Одолжил сотню — возвращай две, словно у него проценты на крыше растут! Говорят, есть суды. Защищайся! Как же бедному человеку защищаться? Первое — не на что (тоже ведь денег стоит), а второе — зря время терять. Пришел на суд: поладим, так поладим. Двести — пускай будет и двести, только бы без волокиты. Да где там! Он теперь, видишь, куда загнул: банком страшает, чтоб участок отобрать. Истинно, как тот черт, который, говорят, чуть человеку туго придется и не может тот найти выхода, так сейчас же он ему веревку сунет в руки да еще и петлю сам накинёт на шею.

— А какой богатый стал! — произнес неразговорчивый Ахтемий. — Говорят, это он в нашем селе так разбогател.

— Так и есть! — перебил Михайло. — Ведь я помню, каким он пришел в наше село. Говорю вам, лохмотьев и то на нем не было! А как взялся торговать, так мешок денег нагреб. И где он столько добра нажил? В нашем-то селе вроде и не видать столько добра.

— Как не нажить, когда он дерет из последнего? — сказал Иван.

— И нету этому никакого удержу, — продолжал Михайло. — Если человек трудится, то уж ему так и на роду написано, чтоб с него шкуру драть. Работает, как вол в поле, а приходит пора убирать — нечего. Не уродит — хоть за бритву хватайся! Дают в банке — бери в банке. Жмет банк — проси какую-нибудь милосердную душу, чтоб выручила. Да и нападешь как раз на самого отъявленного живодера, потому как добрый человек точно так же помирает с голоду, как и ты. Попадешь в руки процентщику — и до той поры ты хозяин по его милости, пока ему желательно, чтоб ты был хозяином.

Иван подтвердил:

— В суде тоже не найдешь помощи! Его право! Ему выдадут решение, а ты, бедный человек, хоть с моста да в воду.

— Да и еще не смей там рыбу ловить, потому заареновано, — сказал неразговорчивый Ахтемий и засмеялся мужицким смехом — когда только голос словно смеется и губы растянулись в улыбку, но по лицу не понять, что это смех.

Настоящий смех в селе услышишь очень редко, и к тому же он считается неприличным. Искренним смехом смеется, например, влюбленная девушка, разговаривая с парнем. Но люди тогда говорят о ней, что она не смеется, а скалится.

— Чего скалишься? Не видишь, что ягнята в озими? — кричат на такую девушку, считая гораздо большим грехом то, что она скалится, чем то, что не присматривает за ягнятами.

Все трое решили написать о Коропе в газеты, хотя Михайло был убежден, что всего этого не опишешь и на воловьей шкуре.

Гриць лежал больной. Ни у кого даже мысли не было, что он поправится. Пришло время — надо умирать.

— Вот Банат помирает,— сказал Михайло Ахтемию.

— Да, и я тоже слышал. И нет уже ему спасения?

— Откуда вы взялись? Такой дряхлый! Самая малость — и ему крышка. И то еще удивительно, что до сих пор барахтается.

Через несколько дней после этого разговора приехал в село судебный исполнитель — собирать недоимки. По селу крик и плач: «Забирают последнее за недоимки!» Точь-в-точь, будто кто слух пустил, что надвигается чума, холера или пожар. У одного отобрали все до последней нитки, у другого забрали муку из корыта. А Дмитро, на его счастье, два месяца назад погорел. Пришел к нему исполнитель, а у него хата новая: четыре стены, еще небеленые. Как вдруг тут чертова овечка на огороде заблелала. Судебный исполнитель — прямо на голос: глядь, пасется на огороде овечка, и при ней пара ягнят, да еще рядом и копенка сенца стоит. «Твои овцы?» — «Мои!» — «Твое сенцо?» — «Мое!» — «Забираем!» Да и забрали — он и полицейский.

Дмитро почесал у себя в голове:

— Сто чертей твоей матери, гад! И отчего я такой дурень? Что мне стоило выгнать овец в поле?

Ему, разумеется, не оставалось ничего другого, как накинуться с руганью на жену. Жена тоже не молчала, и Дмитро таким образом отвел душу. Только потом уже он пришел к выводу, что ему, собственно, следовало не жену, а исполнителя обругать.

Он вышел с намерением напиться, но затем, обдумав, решил, что лучше проведать больного Гриця. Во-первых, потому, что Гриць родственник, а во-вторых — все-таки легче, когда видишь человека, еще более несчастного, чем ты. Он направился к Грицю.

В хате у Гриця на лавке сидели войт и Семен, а в сенях — Микита Большой и Микита Маленький. Оба они были ровесники, еще очень молодые хозяева. Оба удрали из своих хат в новых тулупах. Тулупы у них были одинаковые. Но на Миките Большом тулуп казался полущубком, а на Миките Малом — огромной шубой. Большой Микита держал руки у себя на животе, а Микита Малый — по швам.

Грициха сидела на лежанке, положив на табурет больную ногу, завернутую в обрывок старой юбки и перевязанную черной тесемкой. Она чистила картошку.

На постели лежал желтый, как воск, Гриць. Глаза его были прикрыты. Он тяжело дышал.

Дмитро стал рядом с двумя Микитами.

Войт, боясь, чтобы кто-нибудь не задал ему вопрос: «Какой же вы войт, если допускаете в селе такой грабеж?» — без умолку говорил Семену о зерне.

— А я вам говорю, — произносил войт медленно и раздельно, — что новое зерно не для нашего поля. Правда, оно крупнее, но, к примеру молвить, слишком быстро всходит. Возьмите сакское жито¹. Какой из него хлеб? Черный, как святая земля! А из простого жита, понимаете, хлеб белый, как пшеничный, пеклеванный. У меня осталось от покойника отца простое жито, я еще его не смешивал. Нарочно держу на память. Такой, говорю вам, хлеб — что твой кулич! И к тому же сакское жито — ему, понимаете, у нас чересчур холодно. А ну как нет снега, а добрый мороз ударит? Сакское жито, смотришь, и сгорело, протухло. Потому оно голое — все наружу. А возьмите простое жито, — оно уж редко где попадает, в нашем селе — только у меня, — так оно ровно в кожухе; зерно глубоко внутри, не боится ни утренника, ни мороза.

Гриць открыл глаза, и Грициха обратилась к нему:

— Гриць! Люди пришли на тебя поглядеть. Пришли проведать тебя. Узнаешь людей?

Гриць отвечал тихим голосом. Речь его то и дело прерывалась:

— А почему бы мне не узнать людей? Что я, ума решил? Спасибо людям, награди их бог за то, что навестили больного. Как выздоровею, и я им добром отплачу.

— Ой, тебе кукушка уж не будет куковать! — сказала Грициха.

— Что это ты, жена? Ведь я еще, слава богу, не помираю. Я надеюсь еще сам свой участок вспахать. Вот пойду к Семену, и мне плуг дадут. Дадите мне, кум Семен, плуг? Я вам отработаю.

¹ Сакское жито — сорг ржи.

— Отчего ж? Дам. Лишь бы здоровье! — отвечал Семен.

— Вот видишь, жена. А ты меня готова заживо похоронить... Поддай-ка мне лучше воды, а то меня жажда мучит.

Грициха зашевелилась, чтобы подняться и подать воды, но Большой Микита не дал ей встать.

— Сидите, Грициха, сидите. Пока вы там со своей ногой сдвинетесь с места, так Грицю уже и пить расхочется.

Он взял кружку, зачерпнул воды и понес Грицю. Гриць с трудом подтянулся повыше и чуть приподнялся. Губы его были так желты, что не отличались от цвета лица. Казалось, что в них нет ни кровинки. Он взял в руки кружку, но не смог ее удержать, и если бы Микита не придерживал ее, кружка полетела бы на пол. Микита, слегка наклонив кружку, начал поить Гриця, точно маленького ребенка. Гриць приложился к кружке губами, но так и нельзя было понять, сделал ли он хоть один глоток. Наконец, оставив кружку в руке Микиты, он, обессиленный, упал обратно на подушки, на прежнее место, и больше уже не пытался приподняться. Он тяжело дышал. На лбу его выступил каплями пот.

— Спасибо, Микита,— прошептал Гриць.— Добрая вода... студеная... так меня подкрепила...

Грициха внимательно смотрела на мужа. Она видела, как он пожелтел, как отказывались ему служить руки, как он бессильно упал на подушки.

— Муж, муж! Что ты обманываешь сам себя? Да ты же — труп. Ишь отдышаться не можешь! Так замучился, чуть только приподнялся. Тебя подкрепила вода? Ты чувствуешь вкус воды? Кого ты хочешь отуманить? Да тебя же не жажда, а горячка мучит!

Гриць обратил на жену измученный взгляд.

— Добрая женщина... опомнись!.. Бог с тобой!..

Но Грициха не обратила внимания.

— Да ты же помрешь! Что ты голову другим морочишь? От тебя же трупом пахнет! А меня ты как оставляешь? — Проговорила это сквозь слезы.— На кого детей покидаешь? Пойдут они по миру. Ведь землю за долги продадут. Пустят все с молотка. А откуда ж я тебе на похороны возьму, на какие деньги тебя похороню? На свои слезы? Ведь после твоей смерти нужно будет еще и

пошлину¹ заплатить. Когда б, к примеру, что и осталось после тебя,— так все уйдет на гербовые марки и нотариусов. Потому как я не могу сама заработать: я калека, ты не видишь, что ли? На кого меня оставляешь? Разве я могу долги заплатить, разве я могу налоги заплатить, разве я могу за наследство заплатить, разве я могу детей прокормить, разве есть у меня на что похоронить тебя? Легче было бы и мне в сырую землю лечь, да дети... На кого ты детей покидаешь?

Гриць опять обратился к ней измученный взгляд.

— Добрая женщина... чего ты хочешь от меня? Я ж еще не помираю... А ты меня в гроб вгоняешь тем, что грызешь.

— Я тебя в гроб вгоняю? Это так ты мне отвечаешь? Да я бы тебе свое здоровье отдала, кабы могла. А ты не знаешь, что нас ожидает после твоей смерти? Ты не знаешь, что дети покойника Гаврила валялись целый месяц, как щенята, под чужими заборами?

Тем временем в сенях начались разговоры. Сначала шепотом, а затем, с каждой минутой, все громче.

— Беда мужику! — говорил Большой Микита. — Так его прижали, что и помереть нельзя! Захворал человек, только и ждет той минуты, когда придет смерть и дух из него вышибет, — ан нет: не смей помирать, и все тут!

— Вот кабы так панам или лавочникам, — сказал Микита Малый. — Пускай бы хоть все до последнего перемерли — никто им перечить не станет! Пускай их хоть холера всех до единого передушит — никто слова не скажет!

Дмитро тоже вступил в разговор:

— Или пускай каждый из них хоть десять лет кончается — им можно! А мужику нельзя, — потому как с первой минуты денег стоит. Или валяй сразу, или поднимайся работать.

Микита Малый начал поддразнивать Дмитра:

— А вам, кум Митро, жена тоже не дозволила бы помирать. Из вас сегодня душу вытягивали за недоимки, вот жена вам и скажет: «Постой, заплати-ка сначала, а потом уж помирай!»

— А вы думаете, — огрызнулся Дмитро, — что скроешься со своими тулупами? Вон только вынырнет откуда-нибудь сборщик, так сейчас же и стащит с плеч.

¹ За ввод во владение наследством.

Большой Микита оставил без внимания слова Дмитра. — Эге, кум Митрий нашел бы выход! У него остались на чердаке кафтан и пара сапог. Кум Митрий, коль решил бы помирать, дождался б зимы, когда на дворе такая метель, что и носа не высунешь. Он надел бы кафтан и сапоги — и: «Погоди, жена, я выскочу, воды тебе принесу!» Да вместо воды зарылся бы в сено и в сене еще лучше бы помер, чем иной на постели.

— Кабы сено! — сказал Дмитро. — А то, злодей, очистил меня сегодня как есть от всего. Я прошу: «Оставьте хоть сено, у меня же овцы, чем я их зимой кормить буду?» (Овец я держу на налог.) А он мне отвечает: «Не беспокойся, говорит, человече, об овцах, мы и овец заберем». Ну, забрал и овец!

У Гриця заболела шея, так как он лежал в крайне неудобной позе: плечи на подушке, а голова завалилась к стене. Он пытался сползти вниз, на прежнее место: ухватился одной рукой за крайнюю доску постели, а другой уперся в середину. Но ничего сделать не смог.

Микита Большой понял, чего хочет Гриць. Он вошел в комнату и позвал за собой Малого Микиту.

— Поди-ка сюда, Микита, поможем Грицю улечься поудобнее. Он неудобно лежит, у него заболела шея.

— Спасибо, Микита, — благодарил Гриць, — спасибо. Я сам, не беспокойтесь. Что ж, это дело небольшое — подвинуться... Оставьте, я сам.

Грициха опять внимательно поглядела на больного. Оба Микиты подняли его, точно маленького ребенка, и уложили пониже.

— Ты сам? — сказала Грициха. — Ой, сам ты уж ничего не можешь делать. Уже ты сам и шагу не ступишь.

Оба Микиты возвратились в сени и закончили начатый разговор.

— Кум Митрий, — сказал Микита Большой, — уже давно бы в раю блаженствовал, а жена без кафтана и сапог все бы не могла выйти во двор.

— Эх, в раю нам блаженствовать! — сказал Дмитро. — А может, отнесут на кладбище, и — аминь! Сгнивать в яме, и конец! Будто кто-то наверняка дознался, что люди как раз после смерти блаженствуют. А может, рай не для мужика? Разве не говорил Кручка, что у мужика нет души? Мужик, говорит, когда помирает, то выпускает из себя пар, словно скотина.

— Да вы и сами подумайте, — сказал Микита Ма-

лый,—куда мужика после смерти поместить? Пана — другое дело! А как же! Пан или злой у бога, или добрый. Добрый пан заказывает молебны, подает бедным. Хоронят его с десятков попов и всякое такое. Ведь у него есть кое-что. Такого сейчас же после смерти — в рай. А злого — в пекло. А с мужиком что поделаете? Мужик — дурак! Он разве знает, как бога славить? Ходит в церковь потому лишь, что другие ходят, да и крестится так, будто мух отгоняет; бедным не подает, — сам взял бы, коли б нашелся такой дурень, который и мужику что-нибудь дал. Попы его не отмаливают, потому как не на что ему молебен заказать. Так что, сообразно правилу, надлежало бы ему в пекло, на самое дно. Однако как же его и там в пекло, коли у него тут было пекло? Незачем, выходит, и помирать, если для того же самого... Так лучше уж пускай пропадает, как скотина; и не будет с ним на Страшном суде никаких хлопот.

— Так бы и вышло, если бы кум Митрий тайком от жены помер. В рай ему никак — параграф не допускает. Ведь без исповеди помер! А в пекло тоже нет основания отправить, — ведь разве он кому-нибудь плохое сделал? А то, что погорел, — невеликий грех: и церковь тоже может сгореть.

Дмитро махнул рукой:

— А наконец хоть бы и отправили меня в пекло, — так, думаете, я понял бы, пекло это или рай? Почувствовал бы, пожалуй, что малость иначе, чем на земле; но кто знает: не лучше бы мне там было? Да и какое ж там пекло? Нет штрафа, — значит, нет и пекла! Так уж лучше мне в яме сгнить, чтоб после моей смерти судьям головы не ломать, что со мной делать!

Все трое смеялись мужицким смехом — когда голос словно бы смеется и губы расплываются в улыбке, но по лицу никак не понять, что это смех. Такой смех не прерывает и не прекращает беседы. Грициха чистила картошку. Все в хате слушали этот разговор совершенно равнодушно. Только Гриць порою вздыхал...

VI

Дней через десять после этого пришли навестить больного Семениха с Процихой, а также Иваниха. Семениха сидела на лавке, а Иваниха с Процихой стояли у

дверей. Молоденькая Иваниха была очень робкая. Ее страшно огорчало, что она такая высокая. Проциха была ей только по грудь. Иваниха чувствовала себя смущенной, так как, глянув несколько раз искоса на Проциху, не увидела ничего, кроме ее волос. Ее беспокоило и то, что она не находила ни слова утешения для Грицихи. Семениха с Процихой говорили, а Иваниха только краснела.

Грициха сидела на лежанке, положив больную ногу на стул, и прjala.

— Соседки мои, соседки! — приговаривала Грициха. — Недолго мне уже с вами соседствовать. Скоро пойду с детьми по миру. Заберут чужие люди нажитое моим трудом. Всю жизнь я тяжело трудилась, ночей недосыпала, работала, как вол, да не для себя, не для себя...

— Кумушка Грициха, — утешала ее Семениха, — не печальтесь. Бог милостив, да и кругом — не татары! Вон другие и не так еще бедствуют. Христиане на то и рождаются на свет, чтобы бедствовать.

— А вы думаете, — говорила Проциха, — что у нас ладно, что мы не на той же дорожке? Ой, кумушка, кумушка! Такая бедность, такая бедность, что доведется с голоду помирать. Но христианин живет надеждой, гонит от себя беду, как только может. Все думает: так да сая, авось бог милостив, как-нибудь обойдется; а оно все горше да горше. Христианин в поте лица трудится всю жизнь. И целую неделю — как вол при плуге. Но лишь бы здоровье, тогда как-нибудь обойдется.

— То-то и есть, Проциха, — подхватила Грициха, — было бы здоровье! А вы разве не видите, до чего мы дошли? Я немощная калека, и не найдется уж, верно, во всем свете души, что мне бы помочь могла. А Гриць не сегодня-завтра...

— Э, не говорите, кума, — возразила Семениха, — не гневите бога. На все божья воля. Мы все под богом ходим.

— Как не говорить, соседки, как не говорить? Видите, какой страшный стал? Мертвец! Теперь-то еще, днем, выглядит по-божески, а кабы вы поглядели да послушали ночью! Насилу удастся откричать от смерти. Говорю вам, как зайдетсая — так кончается, говорю вам; просто кончается! Я только за свечкой смотрю. Не сплю. Я, соседки, вовсе по ночам не сплю, только и слушаю, не конец ли? Этой ночью заснула на часок, да и то, знаете,

через силу: сон одолел. И приснилось мне такое страшное-престрашное! Сердце вещает, что недолго он протянет.

Будто иду я в город и подошла к кладбищу, как раз туда, где красный крест; гляжу — стою я где-то на высокой горе и думаю: как же я, думаю, через эту гору переберусь, коли я калека? Буду хвататься, думаю, за кусты да понемножку спускаться, авось слезу. Я, знаете, хватаюсь руками за кусты и спускаюсь все ниже и ниже, а тут вдруг откуда ни возьмись ручей, — такой, скажу вам, мутный, прямо черный. А в том ручье рыбы — просто кишит! А рыба там такая пакостная да страшная, что меня в дрожь бросило. И вот, говорю вам, вся рыба эта подпрыгивает и ходит в воде кверху брюхом и разевает пасть, как собака, и шелкает зубами, точно хочет меня проглотить. Я трясусь от страха и все хочу пониже спуститься... но тихонько, чтоб рыба не услышала. Да хоть и тороплюсь, а все на одном месте; а как притронусь к кусту — так шелест такой, будто кто по дороге хворост тащит. Будь, думаю, что будет, а мне надо отсюда бежать. Взяла я, знаете, и стала спускаться ниже и угодила, знаете ли, на камень. Господи, как стукнусь головой о камень, так все зубы затрещали! Я хватать за зубы, а зубы все и повывлетели. А эта рыба, знаете, вылезает из того ручья — ну прямо как гадюки. У меня сердце замерло. Я со страху выпустила куст и упала в какую-то пропасть.

Проснулась, знаете, и вся в поту, мокрая вся, ровно выкупалась. Двери открыты, холодом на меня тянет, а голова и зубы так болят, просто разламываются. Села я, знаете, на лежанку и думаю: что бы этот сон мог значить? Вода мутная, рыба, зубы выпадают... Да это же смерть, неминуемая смерть! Задумалась я крепко-крепко, так, что даже забылась. Дети спят, Гриць тяжело дышит и стонет... Дети мои, думаю, что с вами станется? Будете слоняться под чужими заборами, а потом, как подрастете, пойдете к пану в батраки. Лучше бы вы раньше поумирали, мне бы тогда так тяжело не было. Одна бы я погоревала — и конец. А весь век своими глазами видеть, как твои дети валяются под чужими заборами, как в дворовых они или в батраках, немытые и нечесанные, молодой свой век губят, — это, соседки мои, тяжело, это очень тяжело! Что их ждет на службе у пана? Пока молоды, пока здоровы, будут работать, а как малость по-

убавится силы — так убирайся, шей суму и лезь добрым людям на глаза, чтобы подали кусок хлеба! Задумалась я об этом крепко. И тяжело мне стало, будто кто мне в сердце нож вонзил. Вот так-то я думаю и прислушиваюсь, что Гриць делает? Слушаю, а он так хрипит, будто уже кончается. «Гриць, ты спишь?» — говорю. «Нет, не сплю», — отвечает. «Может, говорю, зажечь свет? Может, тебе чего надо?» — «Нет, говорит, ничего не надо, мне легче». А я же знаю, соседки, что он мне глаза замазывает. Горько ему, очень горько, что загнал нас в такую беду! Вот видишь, Гриць: в хорошем положении ты оставляешь детей! Ерина пойдет в батрачках девичий век доживать. Люди будут показывать на нее пальцами, как на самую последнюю. А Николку стражники будут таскать за бродяжничество, как таскали детей Дзиня-цыгана.

— Ох, ох, жена, что ты делаешь со мной? — произнес Гриць, слясь повернуться к стене.

Но не смог. Только голову свесил в сторону стены.

— Да вы, кума, оставьте их, не допекайте! — сказала Семениха. — Это же еще не то, чтоб... И не так еще люди хворают, а выбираютя. И Гриць еще выздоровеет. Бог милостив!

Грициха не дала себя переубедить.

— Что вы, Семениха, говорите?! Я же рада была б, если бы он выздоровел. Да куда там! Не видите разве, какой он стал? Кожа да кости! Уж как такому и выздороавливать? Хоть бы, к примеру, ему бы и легче стало, — как такому жить?

— Э, скажете! Просто оброс человек, небритый, оттого и стал такой, как старик. А кабы побрился — сами бы не узнали!

Гриць повернул голову и посмотрел слезящимися глазами на Семениху.

— Верно говорите, кума. Дай вам боже здоровья! Я уже три недели как небритый.

— А как же, а как же! — сказала Семениха. — Надо побриться. А что ж? Это так уж полагается. Ну как же! Опять же исповедаться надо, а как же небритым?

Гриць опять повернулся к стене и прошептал:

— Как? Зачем же исповедаться? Я ж еще не умираю.

— Это ничего, ничего! — ответила Семениха. — Но кто знает, чей черед завтра? Исповедаться нужно. Человек не знает, что его ждет. Исповедь ничему не мешает. А ну, не дай бог, что-нибудь? Кто может знать?

Грициха вздохнула.

— Ой, надо, надо! Правда ваша, кума. Я уж давно об этом думаю. А ну как зайдетесь ночью, да и преставится? Потом станут говорить люди, что из-за меня без исповеди помер. Пойду-ка я к ксендзу, пусть исповедает. А вы, Иваниха, сбегайте за своим, пускай придет побрить.

Семениха поднялась с лавки.

— Да вы уж, кума Грициха, сидите, вам мучение ходить. Я зайду домой, надену тулуп и сама схожу. Пока Иван побреет, я уж и ворочусь.

Проциха ушла вместе с Семенихой.

Иваниха осталась одна. Ей хотелось сказать что-то важное, но она никак не могла решиться. Она была робкого характера, да притом недавно вышла замуж и не привыкла еще разговаривать с людьми так степенно, как полагается замужним. Она все ждала, чтоб Грициха вызвала ее на разговор. Но Грициха не обращала на нее внимания, она в это время говорила Грицю:

— Видишь, Гриць, нечего уж тебе наводить тень: чужая женщина сказала тебе, чтоб исповедался. Размыкал все хозяйство, пустил по ветру все добро, загубил все, что было, и вгоняешь нас в нужду и нищету.

— Ты, жена,— прошептал Гриць,— точишь мне сердце, как червяк, изо дня в день.

Грициха заметила стоявшую у дверей Иваниху.

— Сходите-ка, Иваниха, будьте добры, за Иваном.

У Иванихи екнуло в груди.

— Я сейчас... Я пришла вам сказать, что уже получили газету. Там напечатано про Коропа и про Гриця...

— Что? — удивилась Грициха.— Ага, правда, вы читаете газету.

Иваниха покраснела, наклонила голову и прикрыла лицо рукой.

— Так что там напечатано? — спросил Гриць.

— Что Короп не по правде завладел вашей землей и хочет еще пустить вас с молотка.

Гриць укоризненно посмотрел на жену. Грициха спросила:

— А откуда они узнали про это в газете?

— Петро Павлов написал. Михайло с Ахтемием и Иван диктовали, а он написал. Написали, что все под присягой подтвердят.

— Вот же добрые люди! — сказал Гриць.— Дай им

боже счастливо прожить! Эх, кабы наведалься ко мне Петро, вот бы я его поблагодарил! То-то хороший парень.

— Я ему передам через Варвару, она к нам заходит.

— Передайте, Иваниха! — откликнулась Грициха. — Варвара у вас бывает, вы, верно, вместе газету читаете.

Этими словами Грициха окончательно добила Иваниху. Иваниха круто повернулась к дверям, тяжело вздохнула и чуть не заплакала.

— Я сбегаю за Иваном!

Но как раз в эту минуту явился с бритвой сам Иван. Ему передала Семениха, чтоб он пришел побрить Гриця. Иванихе сразу стало легче, словно муж явился защитить ее от целой стаи волков.

— Хотите побриться, Гриць? — спросил Иван.

Грициха ответила за мужа:

— Да пускай уж побреется, а то надо исповедаться.

Гриць помрачнел.

— Вот ведь...

— Не кручиньтесь, Гриць! — утешил его Иван. — Вы еще жену бить будете! Вот как побрею вас, так жена еще захочет потанцевать с вами.

— Эх, кабы на то милость господня!

VII

Вскоре больного Гриця навестил Петро. Дома никого не было, так как Грициха понесла кому-то в село пряжу, и Ерина ушла вместе с ней. Василина работала на поле, а Николка, по обыкновению, играл с ребятами на улице.

Петро очень разочаровал Гриця. Он не мог ему ничего сообщить о продаже с торгов.

— Я написал в газету. Михайло, Ахтемий и Иван диктовали, а я написал. Варвара передавала, чтоб я пришел. Да и мать говорила.

Вот и все, что узнал Гриць от Петра. А к тому же Петро словно чего-то боялся: Гриць был такой страшный! Петро смотрел больше на икону, чем на больного. Там был изображен святой Николай с удивленными глазами. Однако Гриць испытывал симпатию к Петру еще с того дня, как Иваниха посоветовала ему написать в газету. Он посмотрел на Петра слезящимися глазами и прошептал:

— Нету... нету уж мне выхода. Ой, нету! Я человек старый, уже отжил свое. Пора в яму.

Он боязливо огляделся, словно выдавал какую-то большую тайну и беспокоился, не подслушивает ли кто-нибудь. Но в хате никого не было, и, кроме Петра, никто не слышал его слов. Гриць вздохнул, с трудом перевернулся на спину, уставился неподвижным взглядом в потолок и медленно процедил сквозь зубы:

— Ой, кабы-то... кабы умереть... так, как люди.

Он лежал неподвижно в постели, с глазами, устремленными в потолок. Видно было, что он сосредоточенно думает о чем-то, что множество мыслей проносится в его голове. Лицо его приобрело спокойное, хоть и скорбное выражение; слезящиеся глаза блестели. Ясно было, что он смотрит, но ничего не видит, целиком поглощенный своими мыслями. Петро сидел тихо, не двигаясь, убежденный, что Гриць грезит о счастье.

Не только каждый народ имеет свой язык, но и каждый общественный класс имеет хотя бы свой говор. Не в том дело, как произносятся слова, а в том, как их понимают. Например, слово «дом». При этом слове человек, выросший в большом городе, представит себе многоэтажное каменное здание; а пред мужиком предстанет низкая хата, крытая соломой. Если бы кто-нибудь произнес это слово так, что оно способно было бы вызвать в слушателе какие-нибудь чувства, — то человек, выросший в городе, испытал бы одно чувство, а воспитанный в селе — иное. И каждый бы из них говорил о своих чувствах различно.

Грицю хотелось умереть, потому что он уже чувствовал себя лишним на этом свете. Но ему хотелось умереть по-людски, не втайне. Он хотел проститься с родными, как прощается после свадьбы отец с дочерью, отданной в другое село: тебе там жить, а мне тут, будь здорова!

Гриць рисовал в своем воображении картину, как больной человек в последнюю минуту обращается к своей семье:

— Позовите ко мне соседей, попрощаюсь!

Он представил себе, как соседи сходятся у одра больного и выслушивают его со вниманием — как человека, который уже не принадлежит этому миру. Гриць вообразил себя на месте этого больного и мысленно обратился



к соседям с речью, как если бы они стояли у его постели:

— Соседи мои, любезные и милые! Простите меня! Может, я кому-нибудь из вас плохое слово сказал; может, я кому-нибудь из вас что-либо худое сделал; может, я кого-нибудь обманул, или обидел, или оговорил. Простите меня! Уже вы больше от меня на этом свете, ни доброго, ни злого не увидите. Простите меня, Семен!

— Бог простит! — будто бы отвечает ему Семен.

— И второй раз!

— Бог простит!

— И третий раз!

— Бог простит!

И каждый раз они будто бы целуют друг другу руку.



— И вы, Иван, простите меня!

— Бог простит! — будто бы отвечает Иван.

— И второй раз! И третий раз!

И опять будто бы целуют он и Иван друг другу руку.

И так будто бы простился он уже со всеми соседями. Соседи будто бы усаживаются степенно на скамье и ждут, что он станет говорить дальше. А он будто бы велит подать себе воды и говорит:

— Пока я еще жив, хочу распорядиться своим имуществом, потому как в гроб не заберешь его с собой. А вас, любезные мои соседи, паны хозяева, прошу вас запомнить, как я распоряжусь своим имуществом, чтоб дети потом, после меня, не ссорились, чтоб по судам не таскались, чтоб не растрчивали зря свой труд на адво-

катов. Тот участок, под горою, я отказываю моей старшей дочке Василине. Там будет морга полтора. Участок на месте бывшего пруда отказываю второй своей дочке, Ерине. Там будет только морг, да зато земля получше. Остальное отдаю сыну Николе: и хату, и огород, и участок под сенокосом. Обязаны они меня за это по-христиански похоронить; на все расходы должны они дать по равной части. А ты, старуха, держись при детях! Покуда Никола малолетний и пока девки не выйдут замуж, до той поры ты, старуха, собираешь урожай. А в хате ты должна находиться, покуда жива. Сын обязан тебя содержать и похороны твои справить, потому как я ему больше всех отказал. После моей смерти, коли девкам попадутся люди, выдай их и отдели им их части.

При этих словах Гриць будто бы чувствует, что старшая дочка Василина словно уж не очень по нему горюет. Там, в глубине ее души, в самом уголке, шевелится бессознательное желание, чтоб отец уж недолго мучился на этом свете, чтоб уходил туда, куда собрался; все равно ведь этого не избежать. А у нее на примете есть парень. И парень этот, как заслышит, что отец отказал ей участок под горой, так сейчас же, через две недели, посватается. Она отделится от семьи и начнет хозяйствовать сама.

Гриць будто бы чувствует, что Василине этого втайне хочется, но его это не огорчает. Живой думает о живом. Он даже рад этому, потому что потом люди будут говорить:

— Гляди, Грицева Василина уж выходит замуж. Да и не удивительно. Покойник оставил немало, детям есть на чем хозяйство вести.

Таковы были грезы Гриця. Петро сидел тихо, стараясь не спугнуть этих грез. Но Гриць недолго грезил. Махнул рукой и прошептал:

— Да что из того!

Припомнил, по-видимому, как обстоит дело в действительности. Трех участков уже давно нет, осталось только два; да и из них больше половины продано, в чужих руках. И эта кроха тоже не сегодня-завтра будет чужая. Долги на ней такие, что хоть и сто лет проживи, а столько не заработаешь. Для того чтоб как-нибудь оправдать себя перед родными, он делал вид, что еще не умирает. Но был убежден, что ему никто не верит, а если б даже он и выздоровел, то ничего бы не поправил.

Гриць умер в начале осени, в ту наилучшую пору, когда нет ни летнего зноя, ни осеннего ненастья, когда солнце на ясном небе греет, но не печет и легчайший закатный ветерок срывает с деревьев пожухлую листву.

Его хоронили на следующий день. На похороны явилось мало народу. Были только соседи, а из тех, кто жил подальше, пришли только Сафат, Михайло и Павло. Пришли также и Варвара с Иванихой. Пан-отца еще не было, но был дьячок. Он являлся единственным в селе человеком, который принял близко к сердцу наставления священника и вместо «це» произносил «сие», — разумеется, лишь в разговоре со священником. Дьячок был человек старый, вдовец, худой и уже сильно сгорбленный. За это его прозвали «Складной».

— Подойдите, дьячок, я вас поцелую! — сказала ему Варвара.

Дьячок глянул на нее и улыбнулся:

— А ну-ка, эх!

— Да вы же складной...

— Болтай, — сказал дьячок. — Я б еще лучше сумел, чем молодой...

— Кашлять, — добавила Варвара.

Маленький Никола, с разодранным до пушка воротом рубашки, бегал среди людей, словно по лесу среди редко стоящих деревьев, радуясь, что к ним явилось такое множество народа.

Семениха с Процихой стояли в сторонке и разговаривали.

— Вы были при том, как умирал Гриць? — спросила Семениха.

— Да, была. Но как он кончался, не видала. Говорят, один только раз и всхлипнул. Это произошло в мгновение ока. Митер сидел у самой постели. Когда Гриць стал отходить, Митер спросил его насчет номеров. «Скажите, говорит, дядя Гриць, какие номера? Вы теперь угадаете, и мы, может, выиграем в лотерею». Он, еще когда был в солдатах, слышал, будто человек при своей кончине — вещун: может угадывать номера.

— Чудно! И сказал он, какие номера?

— Э, где там! Когда человек умирает, ему, верно, ничего на ум нейдет.

— И так он до самой смерти не признался, что поми-
рает? — спросила Семениха.

— Нет! Да и чего ему было таиться? Все же видали.

— Это правда, кума Семениха, что не для чего было, да только тут уж, верно, словно с хлебами: как зарядит дождь недели две подряд в косовицу, так человек ведь знает, что зерно прорастет, а все же, коли кто придет с поля и скажет, что зерно проросло,— человеку это так горько услышать, будто он о том впервой узнал. Так вот и с этим.

— Но почему он перед исповедью или сейчас же после нее не признался?

— Грехи!

Сафат, первый богач в селе, был заядлым курильщиком. «С таким смаком курит, будто титьку сосет»,— говорили о нем. Сейчас он курил «смажек». Его готовят так: у себя же на поле воруют листы табаку, но сушат их не на солнце, потому что таможенные ищейки могут приметить это, а в печи. Высушенный таким образом смажек задерживает зеленую дресну, но зато он слишком легок. Его предварительно надо запечь в трубке, чтоб он стал крепче.

Сафат сказал Семену:

— Я потерял сегодня рабочий день. У меня столько работы — и тут и там, все везде начато.

Михайло обрадовался случаю поддеть хруня: ¹

— А тебя кто сюда звал? Сидел бы дома да следил бы за работой. Может, хочешь, чтоб Грициха тебе заплатила за этот день?

Сафат смутился:

— Чего вы ко мне пристали, Михайло? Я с вами не пью — так и не говорите мне: «Дай боже здоровья!»

— Что, что такое? — стали спрашивать кругом.

— Поглядите, люди! — сказал Михайло. — Богатей обижается, что потерял день из-за похорон. Сложимся, хозяева, по крейцеру на богатея, а то ему это убыточно!

Пришел священник и произнес коротенькую проповедь. И что ему было в конце концов говорить о пьянице?

Когда похоронная процессия двинулась, из бурьяна и с кольев плетня сорвались стаи воробьев. Живой, крикливый серый полог поднялся с края двора Гриця и, точно гонимый ветром, перелетел через дорогу и повис на

¹ Хруня — буквально: свинья; в переносном значении — избиратель, продающий свой голос.

развесистой старой груше. Верхний его край зацепился за вершину груши, а нижний подвернулся и исчез среди ветвей. Воробушки, точно высыпаемые из этого полога, запрыгали, чирикают, по веткам.

За гробом шла, опираясь на палки, Грициха и ритмично причитала:

— Хозяин мой! На кого ты нас покидаешь? На кого оставляешь малых детей? За что на нас прогневался?

Пение дьячка заглушало ее причитания. Василина шла понурясь. Ерина плакала. Никола ехал позади процессии верхом на стебле подсолнуха и стегал прутом своего импровизированного коня.

Сафат обратился к Семенихе, случайно оказавшейся с ним рядом:

— Смотрите, Семениха! Уж если кто искренне жалеет, так тот не умеет красиво причитать, потому что горе не дает. Ведь сердце же разрывается. А кому все равно — тот причитает так, будто по книге читает.

Все женщины плакали: каждая из них, вероятно, припоминала какое-нибудь свое горе.

Проциха говорила Михайлу:

— Вот оставил малых детей. Что из них теперь выйдет?

— Пролетарии! — ответил Михайло, считая, что и Процихе должно быть понятно это слово.

Проциха удивилась и почувствовала неловкость. В селах не принято спрашивать, что означает какое-нибудь новое слово. И потому Процихе казалось, что у нее слаба память, раз она не понимает слов Михайла.

Зазвонили колокола. В селах пономарь звонит одной рукой, но благодаря мастерству извлекает из колоколов какую-то мелодию. Если мысленно произносить под колокольный звон какое-нибудь многосложное слово, то колокола словно выговаривают это слово. И потому что Проциха вдумывалась в значение слова «пролетарии», ей казалось, что и колокола твердят ей: пролетарии, пролетарии.

За церковью стало видно кладбище. Оно все утопало в зелени. Между стволами деревьев белели кресты и крестики. Кладбище закрывало собой всю восточную сторону горизонта. Чистое осеннее голубое небо опускалось над кладбищем и словно входило в него через просветы между деревьями и крестами. Словно там дальше, за этим кладбищем, уж ничего больше на свете и не было.

ЗА ТОПЛИВО

Судья (*подсудимому*). Подвергались ли наказанию?

Подсудимый (*стоит, сгорбившись, у дверей*). Да.

Судья. Ну!

Подсудимый. Получил от пана десять розог на конюшне.

Барин (*смуглый армянин, с ушами, как у летучей мыши; вместо того чтобы побледнеть, пожелтел*). Это неправда. Он врет!

Судья. Успокойтесь, я знаю, что он мне здесь все будет врать. (*Подсудимому*.) Не ври! Бить не дозволено.

Подсудимый поморщился так, словно хотел сказать: «Кабы я с тобой столкнулся в своем селе, на глухой улице в полночь, я б тебе показал, дозволено бить или нет!»

Я тебя спрашиваю, подвергался ли ты наказанию, что означает: сидел ли ты под арестом?

Барин. Ого-го!

Подсудимый. Сидел.

Судья. За что?

Подсудимый. За на́пасть!

Судья. За какую на́пасть!

Подсудимый. У Семена пропал мешок, а у меня делали обыск жандармы,— он и найдись.

Судья. Да ты, видно, достойный человек!

Барин. Отпетый вор!

Судья. Воровал ты у барина хворост с поля?

Подсудимый. Нет.

Барин (*сердится*). Как можно так нагло врать? Ведь тебя же поймали гуменной и эконо́м!

Подсудимый. Я брал для себя топливо.

Барин. Ночью?

Подсудимый. Потому как днем не давали.

Судья. Ты дурак или прикидываешься дураком?

Подсудимый. Правда, я малость придурковат, по-

тому как меня в малолетстве треснули по голове, но работник я добрый. Пускай и пан скажут, три года у них служу.

Б а р и н. И так-то ты отблагодарил меня за мое доброе сердце, за то, что три года тебя кормлю?

С у д ь я. Что имеешь сказать в свое оправдание?

Подсудимый смотрит на ножку стола.

Почему ты воровал хворост?



Подсудимый. Потому как мне причиталось.

Барин (*перебивает*). Смотрите, господин судья, какая наглость! Он социалист, он хочет поделить все мое!

Подсудимый. У нас было условие с паном насчет топлива. А то как же мне жинка обед сварит? Я за плугом... тяжелая работа... с волом от зари до темной ночи.

Судья. Что?

Барин. Но, господин судья, я ему дал, согласно условию, ботву репы, как и ежегодно.

Подсудимый. Ботва перемокла... погнила. Чем топить? Слякоть началась. У меня сеней нет, а такую кучу в хату не заберешь. А хворост как-никак другое: хоть в хату возьми, а хоть и отсыреет — тоже скорей высохнет.

Судья. Да что тут много толковать? Из его показаний следует, что воровал.

Подсудимый. Я ничего не воровал, я брал топливо. Мне причитается.

Судья. Если ты считаешь, что тебе полагается, подай жалобу на барина, а воровать не дозволено.

Подсудимый. А куда подавать жалобу?

Судья. В суд.

Подсудимый (*с хитрой миной*). Эге! (*Смотрит на ножку стола.*)

Судья. За то, что ты воровал хворост, отсидишь две недели под арестом и обязуешься возратить барину хворост или уплатить пятьдесят крейцеров.

Подсудимый. Оксана не отдаст хвороста, — нечем же будет топить.

Барин. Я из твоей получки удержу.

Подсудимый. Как так из получки? Я взял до получки полкорца¹ кукурузы у лавочника.

Судья. Согласен с приговором или обжалуешь?

Подсудимый. Где?

Судья. В высшей инстанции.

Подсудимый смотрит на ножку стола.

Ну?

Подсудимый. Я никуда не буду жаловаться...

Судья. Тогда катать под арест!

Подсудимый. Но я же взял полкорца.

Судебный пристав уводит осужденного.

¹ Корец — мера сыпучих тел.

ЗА МЕЖУ

— Били вы Иваниху? — спросил судья Грицька, стоявшего перед ним босиком, с закатанной штаниной, в кафтане внакидку и с всклокоченной головой. В волосах его торчало несколько стеблей соломы. Как спал в риге, в таком виде поднялся с зарей и зашагал в город «на суд закона».

За Грицька ответила Иваниха. Она, насколько могла быстро, протиснулась между людей и шла, не останавливаясь, покуда не ударилась пальцами ног о помост, на котором стоял судейский стол.

— Бил! Ой, бил меня, сколько его душе было угодно! Сапкой. По голове, по бокам, по рукам, по ногам, куда попало... Вот, прошу милости, смотрите, какие синяки...

— Тише, баба! Я Грицька спрашиваю!

Иванихе казалось, что если будет говорить Грицько, он выиграет дело. Поэтому она не утихала:

— Прошу милости у судьи. Он врать будет, будет говорить, что это его земля, что я затеяла ссору. А я сейчас вот тут присягну, как на духу...

— Тихо, говорю, баба!

Гриць воспользовался случаем. Подошел крадущимися шагами к самому столу и с хитрой улыбкой указал пальцем на Иваниху:

— Смотрите, прошу милости у пресветлого суда: она всегда так. Коли она тут, в цесарском суде, такая — то какая ж она дома! Прицепится, что репей к кожиху...

— А вот и нет! Врете! — перебила Иваниха. — Это вы разбойник... Не кричали вы, что меня зарежете? А, что?!

— Тише, баба, не то сейчас арестую!

— Вот еще, не дают говорить!..— Голос Иванихи прервался от душивших ее слез.

Грицько так и просиял.

— Вот оно, твое право! А как похвалялась в селе: я его под суд отдам, в тюрьму сядет!..

— А он говорил, прошу милости у судьи, что суда не боится.

— Врешь!

— Нет, говорил!

— Врешь!

— Люди слышали!

— Врешь!

— Тихо, а то я вас обоих арестую. Разнимите их!

Двое свидетелей — один старый, седой, второй молодой — втиснулись между Грицьком и Иванихой.

— Бил ты Иваниху? — начал разбор дела судья.

— Прошу выслушать, пресветлый судья, я расскажу, с чего пошло. Еще мой покойник отец, царство ему небесное...

— Но я же тебя спрашиваю: бил ты?

— Прошу милости, пан судья, выслушайте ж. А то не узнаете, с чего пошло. Это все из-за межи...

— Это моя межа! — крикнула стоявшая у другого края стола Иваниха.

— Вот тебе твое! Видишь? — И Грицько ткнул кукиш под нос старику свидетелю, так как до Иванихи не дотянулся.

— Но мне ни к чему, с чего пошло. Я хочу знать: бил ты Иваниху?

— Да вот она говорит, что бил.

— А я хочу слышать от тебя.

— Я ее в суд не ташил. Чего она хочет от меня? У меня сегодня рабочий день!

— Бил ты? Да или нет?

— Это было на моей собственной меже.



— Бил ты?

— А когда ж я ее бил?

— Я тебя о том и спрашиваю.

— А чтоб она ногами так забила при своей кончине, пошли ей святой господь! Когда ж я ее бил? Замахнулся раз-другой сапкой, потому как это на моей меже было, я тогда окучивал картошку.

Иваниха прижалась к свидетелям и заломила руки:

— Ой! Да что ж он говорит? Да он же врет, не слушайте его!

— Пишите, — сказал судья писарю. — Обвиняемый отрицает свою вину. Теперь я вас выслушаю, — обратился он к старику сви-

детелю. — Только говорите правду. Как вас зовут?

— Прошу милости у пресветлого суда, я не согласен, чтоб он говорил: это ее свидетель, — запротестовал Грицько.

— Что вам известно? — спросил судья свидетеля.

— Я все знаю, потому как я с ее отцом в супряге был. То было не теперь, а давненько, еще в голодные годы. У покойника была пара волов пегих, а у меня пара волов темно-серых...

Иваниха. А как же! А как же!

Грицько. Это ее свидетель, я выставлю своих свидетелей.

Иваниха. Твои свидетели пьянчуги!..

Грицько. Пусть все село скажет.

Свидетель. У меня была земля на сенокосах. Теперь-то я ее уж отдал сыну, пускай он хозяйствует, потому мое дело — не сегодня-завтра лопата — и катать в яму! А земля покойника была на пойме, верно, — межа в межу с его отцом. Но хозяева в ладу жили. Где кто прежде слыхивал про такую ссору, как ныне? Грехи, ничего другого, одни грехи! Мне уж на семидесятый



перевалило, а моей ноги никогда еще не бывало в суде (чтоб сюда ни один добрый человек не заходил!). Ну, куда это? Такой ясный божий день, кто мне сегодня за день заплатит? Не лучше ль в мире да в ладу: свое блюди, а чужого не трогай...

И в а н и х а. Слышь, что старый человек говорит?

Г р и ц ь к о. Это ты мое тронула.

И в а н и х а. Это моего отца межа, у меня свидетели есть.

Г р и ц ь к о. Что мне твои свидетели? У меня свои свидетели.

С в и д е т е л ь. За свой труд сердцем болеешь..

И в а н и х а. Ой, болеешь...

Г р и ц ь к о. А я не болею?

С в и д е т е л ь. А чужое грех трогать.

И в а н и х а. Ага!

Г р и ц ь к о. То-то и есть!

С в и д е т е л ь. Шестнадцать годов был я с ее отцом в супряге, что ни год это поле пахал, а ссоры никакой промеж них не бывало. Межу никто не нарушал, ни ее отец, ни его. Скотинка, на здоровье ей, паслась. Потому как, прошу прощенья у пресветлого суда, прежде широко было, никто насчет межи не думал; а теперь тесно, больно тесно стало...

С у д ь я. Тут Иваниха подала в суд на Грицька за оскорбление личности, за то, что он бил ее сапкой. Знаете что-нибудь об этом?

С в и д е т е л ь. Все знаю. Неужто это только поношение личности? А божье поношение? И так они уж четырнадцать годов...

И в а н и х а. Пятнадцать...

С в и д е т е л ь. Может, и пятнадцать; раз, раз, раз. (Считает по пальцам.) Грех перед богом, а перед людьми срам.

С у д ь я. Были вы при том, когда он ее бил?

С в и д е т е л ь. Что вы говорите! Как же я мог при том быть? Да я уж три года как не выхожу в поле. А хоть бы там и был, так неужто б я пошел глядеть на убийство! Я, благодарение богу, уж пять лет как ни в одной драке не свидетель. Да вот эта молодница пришла намеренно ко мне и как завела, как начала плакать — господи твоя воля! «Дяденька, говорит, сделайте божескую милость, будьте мне за свидетеля, потому как на той меже убийство будет! Или, говорит, он меня со свету

сживет, или я его». Ну, я и стал ей за свидетеля. А почему б и нет? Ведь я с ее отцом шестнадцать годов в супряге был.

Второй свидетель знал ровно столько же. А свидетелем он был по той причине, что Грицько собирался и его тоже «со свету сжить».

Судья объяснил Иванихе, что оскорбление личности, согласно австрийскому уголовному законодательству, должно быть нанесено либо при двух свидетелях, либо в публичном месте. А поскольку здесь ни того, ни другого не было, то...

Иваниха. Так он же меня чуть не убил. Да еще и на моей меже!

Грицько. Это моя межа.

Иваниха. Прошу, пан судья, дать ему острастку, а то нельзя будет и на дороге показаться. Он же как замахнулся на меня сапкой, как трахнул по голове, так я чуть не слегла!

Грицько. Ой!

Он метнулся от стола, расталкивая людей, в сени. Оттуда вынес сапку весом около трех килограммов, с длинной ручкой. Но быстро протолкаться к столу не мог.

— А прошу милости, хозяева, расступитесь-ка!

Хозяева неторопливо давали ему дорогу.

— А ну-ка, малость в сторону: человек сапку несет! — говорили они друг другу.

— Вот, прошу милости у пресветлого суда, поглядите! Есть тут чем бить? Легкая ж, как перышко! Очень подходящая сапка, — говорил Грицько, поставив сапку на ладони и подкидывая ее кверху, как подкидывают ребенка, чтоб не плакал.

Но судья уже вызывал людей по другому делу. Заплаканной Иванихе и сияющему от радости Грицьку оставалось только идти домой.

Какой-то крестьянин, стоявший у печи, встал на цыпочки, вытянул шею и посмотрел поверх голов на сапку.

— Как считаете? Железо! Кабы как следует тюкнул по голове — добрый бы знак остался! — сказал он соседу.

— А еще ежели под сердитую руку... — ответил сосед.

ХИТРЫЙ ПАНЬКО

Не на заре, а еще ночью встал Панько. Обулся в большие сапоги, надел кожух, а удостоверение на право участия в выборах и карточку на право голосования запихнул за пазуху, прямо на голое тело. Еще дома боялся, чтобы эти карточки кто-нибудь не отнял у него.

Жена отрезала ему полхлеба и кусочек сыру — в знак того, что ныне у Панька праздничный день.

Ведь сегодня впервые в своей жизни Панько выполнял общественный долг. На пасху ему минуло уже шестьдесят два года, а он еще никогда не был выборным лицом от села. И только в этом году народ выбрал его избирателем депутата в австрийский парламент.

Не больно велика честь быть избирателем,— особенно в этом году, когда после предыдущих кровавых выборов никто из крестьян не соглашался быть избранным; и, по правде говоря, Панька выбрали только потому, что его в городе еще не знали как «бунтовщика», который осмелился бы голосовать иначе, чем ему приказывает староста,— но все-таки власть властью, а Паньку это пришлось по душе.

Панько вышел во двор, а там такая темень, хоть глаза выколи: носа своего не видно. Но, невзирая на то, что он шлепал по густой осенней грязи и вокруг не было слышно ни живой души, Паньку казалось, он идет среди тысячной толпы людей и как будто эти тысячи наказывают ему то же самое, что сельские грамотей в это воскресенье около церкви: «Помните, Панько, до голосования не отдавайте карточку никому, а только наверху, при комиссии. Если б даже сам староста пожелал взять у вас эту карточку, так ни в коем разе не давайте,

а то все пропадет. Легитимационную карточку покажите, если спросит какой-нибудь чиновник, но карточку на голосование — нет, хоть бы он вам сотню давал».

«Что там сотню?! — словно отвечал мысленно Панько этим тысячам людей. — Ну, нет! Хоть бы меня пытали, и то не отдам. Я знаю, как за народ постоять! Коли народ оказал мне такую честь, то я за него хоть в огонь!»

Так размышлял Панько, и охватывало его чувство радости и страха. Словно получил какой-то очень дорогой и в то же время деликатный подарок, тешился этим подарком и вместе с тем боялся, чтоб не уронить его или не раздавить в руках. Больше всего боялся, чтоб как-нибудь не оплошать. И вот уже чуть ли не в десятый раз повторял про себя, что должен делать.

«Допрежь всего, — думал он, — должен пойти к тому адвокату-украинцу, чтобы он вписал в карточку нашего депутата, а оттуда прямо в комиссию».

Панько был так занят этими мыслями, что и опомниться не успел, как очутился в городе. Был уже день, но сквозь густую изморось нельзя было в нескольких шагах узнать человека. Эта изморось покрыла кожных и шапку Панька мелкими капельками.

В этот день в городке была ярмарка, и медленно со всех сторон стягивался ярмарочный люд. Панько смешался с ярмарочными, потому что слышал дома, что если его где-нибудь в одиночку сцапают, то сразу карточку на право голосования отнимут, а если нет, то приведут жандармов, чтоб Панька арестовали. Поэтому он пробирался к адвокату среди ярмарочного люда.

У адвоката вписали Паньку на карточке имя кандидата и научили его, как донести эту карточку в комиссию.

— Да смотрите, — говорили ему, — не позарьтесь на пятерки, а то в сенях стоит секретарь Момчинский, отбирает карточки с нашим кандидатом и дает другие карточки с пятеркой.

— А я ее вот куда! — ответил Панько, засовывая карточку для голосования обратно за пазуху. — А пятеркой он меня не соблазнит, — говорил, радуясь, что пускают только пятеркой и ничем больше.

Шел к уездной управе, где была выборная комиссия, счастливый, что на этих выборах воюют только пятерками. «Пускай он купит себе веревку на шею за эту

пятерку»,— рассуждал Панько, подходя к уездной управе и сжимая в кулаке легитимационную карточку, чтоб ее показать чиновнику для пропуска в комиссию.

В коридоре уездной управы у одной стены стоял секретарь Момчинский, оттопырив верхнюю губу, чтоб рассмотреть свой длинный белый ус, а у другой — верзила в смушковой шапке и в длинной верхней одежде. Это был какой-то низший служащий, приставленный теперь в помощь Момчинскому в качестве агитатора польского кандидата. Поодаль в сенях прохаживался жандарм с карабином в руках.

При виде этих чиновных лиц Панько малость растерялся и подходил к коридору робкими шагами. Как только он поднялся по каменным ступенькам, его задержал секретарь словами:

— Покажи карточку!

Дрожащей рукой Панько показал смятую в кулаке легитимационную карточку.

— Не эту! Карточку на право голосования! — заорал на него Момчинский таким голосом, каким кричал еще несколько месяцев тому назад, как вахмистр на уланов.

«Ого! Уже начинается»,— подумал Панько, и дрожь нетерпения и ожидания чего-то опасного пробежала по всему его телу.

Панька сразу охватил страх. Не знал, почему именно, но почувствовал, что если этот панок начнет насесть на него, то рука сама полезет за пазуху и вытащит карточку. Чтоб прогнать этот страх, Панько твердил про себя: «Не давать! Не давать! Не давать!»

Все эти мысли пронеслись мгновенно, пока Панько раздумывал, что он должен ответить. И все-таки, хотя и пытался сказать секретарю что-то смелое и убедительное, ничего путного из этого не вышло.

— У меня нет другой карточки,— ответил Панько и тут же смекнул, что ему не поверят.

Секретарь наклонил к нему свое покрасневшее лицо:

— Врешь! Давай карточку для голосования!

«Да будет воля божья! Только бы это пережить, и конец»,— подумал Панько и боязливо ответил:

— Я не дам этой карточки здесь, а только наверху, комиссии.

— Хам! — зашипел секретарь и, разевая рот, обна-

жил передние зубы. Потом моргнул агитатору и прошептал:

— Огрей его!

В эту минуту агитатор поднял свою здоровенную руку и, размахнувшись, ударил Панька по лицу.

«Уже бьют! Но выдержу во что бы то ни стало», — подумал Панько и приготовился еще к нескольким оплеухам: стиснул зубы и крепился изо всех сил. Думал, что это защитит его от боли. Секретарь отвернулся к стене, слегка посмеиваясь. Панько словно застыл на том месте, где остановился, смотрел испуганными глазами на агитатора в ожидании чего-то.

Тогда к нему быстро подошел жандарм и поднял карабин прикладом вверх.

— Проваливай туда иль сюда! Не мешай другим! — закричал на него жандарм с такой злобой, словно Панько неведомо какой вред ему причинил.

Панько и сам не почувял, как наклонился, как поднял руку над головой и как, быстрехонько попятившись, выскочил из коридора. Остановился недалеко от дверей и почувствовал страшный стыд.

«Вот я и не выдержал! Испугался. Здорово ж я защищаю общество! Стоит меня в другой раз выбирать! Испугался, что голову прикладом проломит», — размышлял Панько и смотрел, как другие избиратели входили по одному в коридор, как секретарь отбирал у них карточки и вместо них давал другие.

«Там, наверно, вложены пятерочки! За плохое платят, а за хорошее бьют!» — думал Панько, а слезы от жалости и боли так и наворачивались на глаза, и лицо горело огнем.

Стоял на месте покорно, как нищий перед панским домом, заглядывал внутрь, и ему все еще казалось, что он сумеет как-нибудь проскочить через коридор. Но большой надежды на это не было. Подумал и о том, что бы ему сказали в селе, если б он вернулся ни с чем.

Но второй жандарм, который ходил вдоль дома, успел уже проведать о Паньке и направился прямо к нему.

— Марш! — злобно закричал на Панька и этот, точно Панько нанес ему большую обиду. — Тут стоять нельзя!

Запуганный Панько быстрехонько засеменил, пробираясь среди ярмарочного люда, и чувствовал себя так, как маленький ребенок, которого прогнали палкой из

чужого вишневого сада. «Бедная моя головушка,— думал он,— что мне делать?» Озираясь вокруг, словно искал человека, который смог бы ему помочь.

Так, оглядевшись, заметил Ивана из своего села; в большой мохнатой бараньей шапке, он стоял на возу и, наклонившись, что-то искал возле мешка. Счастливая мысль мелькнула в голове Панька, и он направился прямо к Ивану.

— Вот о чем я вас попрошу,— обратился Панько, хватаясь правой рукой за грядки воза,— одолжите мне шапку.

Иван удивился:

— А зачем вам шапка?

Панько малость подумал:

— Вы не спрашивайте зачем, но одолжите; я вам дам свою шляпу.

Иван озабоченно почесал затылок — и:

— Извините, Панько,— говорит,— но я не знаю для чего. А ну случись вдруг какая беда...— говорил Иван застенчиво, подозревая, не натворил ли чего Панько в городе, а теперь хочет переодеться, чтоб его не узнали.

Панько понял, чего боится Иван.

— Да вам нечего бояться, Иван. Это, вишь, я голосую за депутата, а там бьют.

— Опять бьют? — удивился Иван.— А говорили, что на этих выборах не будут бить.

— Как бы не так! — ответил Панько.— Мне вот шестьдесят два года минуло, а еще никто так по морде не давал, как сегодня какая-то дрянь. Накажи его бог! Да по морде — пустяки, но жандарм замахнулся прикладом по голове. А я человек старый: боюсь, чтоб он меня насмерть не оглушил. Так одолжите мне, Иван, шапку: положу в шапку пучок соломы, все не так страшно.

Иван замялся: неудобно отказать, но не хотелось и одалживать.

— Да вы поймите, Панько,— пробормотал Иван,— жалко вашей головы, но жалко и моей шапки: как ахнет прикладом по шапке, она и разорвется.

— А я вам, ей-богу, другую куплю. Уж коль назвался груздем, полезай в кузов. Пускай это мне и дорого станет, но голос отдать надо.

Хочешь не хочешь, взял Иван шляпу Панька, а ему отдал свою шапку. Панько вытянул из воза большой пучок соломы, помял, размочалил и положил на дно

шапки. А затем надел ее на голову и натянул до самых ушей.

«Теперь пускай бьют,— бухнет что в подушку. Треск будет, а мне начихать»,— так подумал Панько, идучи обратно к уездной управе. Но чем ближе туда подходил, тем робел все больше. А очутившись недалеко от дверей, остановился и призадумался.

«Да! Приклад-то как долбня: треснет шапка, еще и голову разmozжит. Хоть, скажем, солома и ослабит удар, а ну как огреет по лбу!» Эти мысли нагоняли на Панька такой страх, что он не решался войти в коридор и только заглядывал туда с таким вниманием, что видел каждое желтоватое пятнышко на стене от облупившейся известки, видел со всеми подробностями грязный пол, от дверей совсем черный, а там дальше полосы белые возле черных. Но при этом убедился, что коридор тянется очень далеко и что там светло: стало быть, сзади есть другой выход.

«Вот бы оттуда войти»,— мелькнула мысль у Панька, и он, не задумываясь, обошел каменный дом, свернул за угол, где действительно увидел узенькую улочку. Зайдя в эту улочку, убедился, что сзади каждого каменного дома тянется еще длинный двор, окруженный высокой кирпичной стеной. Напротив двух домов были крепкие, большие дубовые ворота в стене.

— Э-э,— сказал про себя Панько,— только неведомо, какие же ворота.

Вернулся назад и убедился, что уездная управа находится в третьем от угла доме. «А что, как у этого дома нет ворот?»— подумал Панько и начал шептать молитву, возвращаясь обратно в узенькую улочку.

Напротив дома уездной управы, в высокой побеленной стене, находились запертые изнутри дубовые ворота вышиной в полтора мужика.

Панько остановился перед ними и первым делом огляделся вокруг, нет ли кого. А ну как заорут: «Держи вора!» Оглядевшись, он убедился, что сзади находилась воинская конюшня, окруженная также высокой белой стеной; значит, оттуда ему нечего было опасаться. Но с левой и правой стороны пересекали улочку две дороги. С каждой из этих дорог можно было только в том случае заметить Панька, если намеренно следить за ним, потому что ворота вдавались глубоко в стену. Большой опасности не было.



Панько совсем не задумывался над тем, с какой стати его должны бить, наоборот: ему казалось совершенно естественным, что всякая дрянь измывается над крестьянином. Для него существовал только голый факт, и он размышлял над тем, как бы этот неоспоримый факт сделать для себя возможно менее вредным. Поэтому не думал ни о чем ином, а только о том, каким образом перелезть на другую сторону.

«Надо бы подпрыгнуть и ухватиться за верх,— думал Панько, осматривая ворота.— Рукою бы, может, как-нибудь и ухватился, но ногами вряд ли: не за что уцепиться. Правда, на воротах есть несколько гвоздей, но сапог сорвется».

Рассудив так, Панько вернулся обратно к Ивану,



разулся, поставил сапоги на воз и попросил Ивана отвезти их домой. Иван опять удивился и сказал Паньку, что в такой холод опасно ходить босиком.

— Пустяки,— ответил Панько,— не замерзну. Как ноги зайдутся от холода, постучу косточкой о косточку: искры посыплются. А уж коль назвался груздем, полезай в кузов! Попытаюсь пройти тишком, только бы проскочить.

Пошел обратно к воротам. Сразу проняло холодом, особенно на мокрых плитах панели, аж за сердце хватало, но немного погода ноги притерпелись.

Очутившись у ворот, внимательно осмотрелся вокруг, не видит ли кто, подпрыгнул, ухватился правой рукой за верх ворот на самой середине, а потом поднял

туда и левую руку. Ногами елозил по воротам, ища какой-нибудь опоры. И нашел: зацепился ногтем большого пальца правой ноги за широкую круглую шляпку гвоздя.

Все это продолжалось очень недолго, однако Панько успел подумать, что за все это время ворота ни разу не скрипнули и не покачнулись. «Ох, и мастак какой-то делал, дай бог ему здоровья: добротню сколочены!»

Не успел Панько высунуть голову над воротами, как тут же опустил руки и спрыгнул на землю, словно кот. Он увидел на дворе с правой стороны колоду, на которой колют дрова, а прямо перед ним виднелся коридор, в нем были секретарь, агитатор и жандарм. Панько перепугался, что они его заметят, и поэтому спрыгнул обратно.

Опять оглянулся вокруг, нет ли кого. Из конюшни вышел улан и, даже не глядя в сторону Панька, направился прямо на дорогу и исчез из глаз.

Панько рассуждал про себя, что хвататься надо не посередине, а справа от колоды. «Еще раз, еще этот раз!» — подбадривал себя Панько, чувствуя страшную усталость и боль в пальцах правой руки. Взглянув на руку, увидел, что на среднем пальце снизу содрал кожу. Сердце в груди так забилося, что дыхание захватило, а перед глазами пошли желтые круги.

«Вот каково старику,— подумал Панько,— малость поднялся и отдышаться нет сил. Если бы вот этак в былые годы, прошмыгнул бы, как лиса». Никогда еще не было ему так жаль прошедшей молодости, как тут, у ворот.

«Пустьяки! Только наверх взобраться, а там хоть бы и вниз головой, так ничего»,— утешал себя Панько, но медлил. То будто хотел отдышаться, то рассматривал содранную кожу, дул на правую руку, но чувствовал, что вряд ли в другой раз полезет. У него не хватало сил заставить себя, настолько страх обуял его.

«Тебе ль быть избирателем? А на печке кашлять не хочешь?!» — укорял себя Панько. Но и это не помогло: так-таки и не чувствовал в себе мужества.

Тогда обозлился. Не на себя, а на того старого Панька, который не хочет через ворота перелезть ради мирского дела.

«Не хочешь? Так ступай по коридору, пускай тебя жандарм прикладом по голове треснет!» — мысленно

кричал на негодного Панька и, словно подчиняясь чужому приказу, сделал несколько шагов к воротам и остановился. «Что, брат?! — издевался он над тем негодным Паньком.— Страх напал, чтобы тебе голову не проломили? Полезай, братец, коли хочешь целым домой прийти!»

И опять, словно по чужому приказу, пошел к правой стороне ворот, подпрыгнул, ухватился руками за верх и, елозя босыми ногами по воротам, цепляясь ногтями за гвозди, за доски, перегнулся через ворота и в один миг, как резвый мальчик, перекинул ноги на другую сторону и спустился во двор. Хоть и почувствовал страшную усталость, однако, не отдохнув ни минутки, пригнувшись, засеменял за колоду.

Стал за косяком двери и украдкой подглядывал, когда те трое в коридоре будут смотреть в противоположную сторону. Этого не пришлось долго ждать, потому что никому из троих и в голову не приходило обращать внимание на черный ход. Улучив удобную минуту, Панько прошмыгнул в коридор и побежал босыми ногами по каменным ступенькам, чтоб выполнить обеспечиваемый австрийским законом акт свободных выборов.

Взбегая вверх по лестнице, Панько испытывал высочайшую радость, ибо не предал мирского дела и так хитро избежал напасти.

КВИТАНЦИЯ НА ПЯТЕРКУ

Благодаря мерам, принятым отцом Алоизием, крестьяне избрали выборщиком Миколу Пидпаленого. Отец Алоизий внес в его избирательную карточку имя украинского кандидата и отправил Миколу в город на выборы. Но отец Алоизий радовался не столько тому, что избран этот выборщик, сколько тому, что все случилось именно так, как он предсказывал.

Потому что дело происходило следующим образом (надо начать с конца).

Две недели назад состоялось у отца декана ¹ собрание священников, и гости, между прочим, обсуждали вопрос о выборах. Больше всех горячился отец Алоизий, так как ему хотелось, чтоб восторжествовало его мнение. Сидя за столом, отец Алоизий вертелся во все стороны, заглядывал собеседникам в глаза, стараясь заставить их внимательно слушать себя, и все время поглаживал рукой у себя над ухом,—точно кот, моющий лапкой мордочку. Так отец Алоизий делал в тех случаях, когда ему казалось, что кто-то хочет ему возразить.

— Приняв во внимание, сударь, все факты, я, сударь... того... прошу выслушать мое мнение, ибо, будучи убежден в этом, тогда как вы, сударь... того... все время разъезжаете по этим собраниям,—сбивчиво говорил отец Алоизий (не так-то легко говорить высокопарно!), заглядывая в глаза отцу декану, исподлобья бросавшему нетерпеливые взоры в сторону столовой: накрывают ли уже там к ужину? — Хорошая вещь, сударь, агитация,—продолжал отец Алоизий—но она... того... не нужна. Ибо к чему она, сударь? Взять, к примеру, меня: моя

¹ Отец декан — благочинный.

позиция заключается в том, сударь, чтобы выбрать из всех тенденций ту, которая лучше. Как я выражаюсь, сударь,— не перебарщивать! Зачем? Мы, сударь, в трудном положении. Всё в меру — вот это и есть, простите, самая прекрасная позиция! Мужикам многое вбивают в голову на этих собраниях, но признаемся между нами, что мы, сударь... того... Если мы, с одной стороны, являемся, сударь народолюбцами,— даже, прошу прощения, самыми честными,— то в то же время мы являемся священниками и людьми. Тут мне никто не сможет возразить!

Эти слова отец Алоизий обратил к отцу Василию, которого все считали радикалом¹. Очевидно, отец Алоизий полагал, что отец Василь собирается ему возражать.

— Как я уже заметил,— нужны ли нам, сударь, неприятности? Хорошо тому, кто живет в городе: ему, сударь, кажется, что наш мужик — это все равно что городской рабочий, которому наговори разных передовых идей — и ладно! Но мы же знаем, сударь, что мужик — это Грицько, Семен, Иван, все те мужики, с которыми, сударь, мы ежедневно сталкиваемся. Более того! Мы знаем, сударь, что это означает. Поэтому давайте не допускать, сударь, кроме агитации, еще чего-нибудь. Признаемся искренне: если не мы сами, поскольку, сударь,— да мы же все знаем,— имеются такие агитаторы, которых, сударь, интересуют вовсе не выборы депутата, а одна голая агитация. Но простите, простите,— я лично никому замечаний не делаю, а тем более священникам.

При этих словах отец Алоизий почесал пальцами у себя над правым ухом, решив, что отец Василь собрался ему возражать.

Отец Алоизий говорил еще довольно долго,— пока не высказал полностью своих взглядов на вопрос о выборах. Взгляды эти сводились к следующему:

1. Не надо нам никаких предвыборных собраний и никакой предвыборной агитации.

2. Вся работа по выборам должна заключаться исключительно в том, что священник в своем селе обязан приложить все старания, чтобы выборщиком был избран

¹ Р а д и к а л — член левобуржуазной партии, защищающей интересы мелкой и средней буржуазии.

верный человек, и должен заполнить его избирательную карточку.

3. Этот верный человек должен быть из тех, кто беспрекословно следует наставлениям священника.

Этих взглядов гости не разделяли, а некоторые из них попросту издевались над отцом Алоизием, что последнего еще больше распаляло. Увидев, однако, что слушателей словами не убедишь, он решил дать им наглядный урок и убедить их на живом примере.

По этой-то причине отец Алоизий и постарался приложить все усилия к тому, чтоб его прихожане избрали выборщиком Миколу Пидпаленого.

Микола Пидпаленый был сосед отца Алоизия. Они жили в ладу: редко выпадал такой день, когда Микола или его жена не бывали по какому-нибудь случаю у отца Алоизия. Приедут, например, гости, к священнику и кухарке требуется помощница,—сейчас же посылают за Миколихой. Или случится какая-нибудь срочная работа на гумне у батюшки,—кто же поможет, если не Микола? Зато если Микола до зарезу нуждается в нескольких крейцерах — священник дает ему их под отработку.

Сегодня Микола отправился голосовать, и отец Алоизий с чувством удовлетворения ожидал его возвращения. Уже давненько зашло солнце, уже девки подоили коров, уже отужинали, уже все село отошло ко сну, а Миколы все еще не было. Отец Алоизий наказывал ему никуда по дороге не заворачивать, а идти прямехонько к нему, хоть бы это было и глубокой ночью.

Отец Алоизий немного беспокоился. Но не столько оттого, что Микола не возвращался, сколько от собственных мыслей. Он то присаживался к столу, то начинал быстренько ходить по комнате, то вновь останавливался и погружался в глубокую задумчивость и часто почесывал пальцами над правым ухом.

Он все думал о победе над противниками и чуть не вслух разговаривал сам с собой. Больше всего его радовала мысль о том, как он посрамит отца Василя. Без всякой агитации, без деморализации народа политиканством — выборщик из его села голосовал как самый сознательный горожанин! Как же тут не радоваться.

Микола устоит неколебимо, как скала, против всех продажных шептунов. «Его преподобие говорили... Уж его преподобие лучше знают!» — вот что явится его отве-

том на все подсказки скупщиков голосов. Вот как должно воспитывать народ!

Ах, какую симпатию чувствовал отец Алоизий к этому тихому Миколе! Если б он был здесь, под руками, отец Алоизий расцеловал бы его, как родного брата. «Его преподобие говорили! Уж его преподобие лучше знают!» Какой он добрый, какой искренний, этот украинский народ! Надо только уметь его объединить! Не агитацией, не пробуждением в нем диких инстинктов, но отеческим, пастырским наставлением.

Прогресс, прогресс, прогресс! Но это же не для нас, не для нас, не для нас! (Отец Алоизий почесал пальцами над ухом, словно кто-то ему возражал.) Попробуйте, поживите некоторое время в селе, и вы убедитесь, что у нас совсем другие условия. Я думаю, что нам не нужно и... Э, глупости!

Это важная вещь: «Его преподобие говорили! Уж его преподобие лучше знают!» Благодаря ей мы станем хозяевами в своем доме, ибо она является продуктом наших собственных условий. Если б мы сразу же прибегли к этому средству, мы бы уже далеко ушли вперед. Не только весь народ был бы в наших руках, но ни один ветрогон никогда не осмелился бы и заглянуть в наши села, чтоб сеять там семена раздора между пастырем и его прихожанами. Однако мы сами же виноваты: опустили руки и плачемся: «Побойтесь бога, приходите агитировать, а то уезд погибает».

В то время как отец Алоизий рассуждал таким образом сам с собою, в кухню вошел Микола, напился воды и, спросив кухарку, в горницах ли батюшка, вышел из кухни в сени и на цыпочках проследовал через переднюю. При этом он грохотал каблуками гораздо громче, чем если бы ступал всей ступней, так как, становясь на носки, он приподымал каблук, и как можно выше, отчего задники всякий раз отставали от пятки, и каблуки с грохотом хлопали об пол.

Очутившись у дверей комнаты, в которой пребывал отец Алоизий, Микола взялся за ручку и начал тихонечко приоткрывать дверь. Тот самый Микола, который не раз один втаскивал на повозку полный корец зерна, открывал теперь дверь с таким напряжением всех своих сил, точно пытался сдвинуть с места стену. Отворив дверь наполовину и словно окончательно выбившись из сил, он просунул в щель голову и бочком протиснулся в комнату.

Затем быстрехонько подбежал к отцу Алоизию, поцеловал ему руку, после чего стал обозревать пол, на котором стоял. Посреди пола тянулся длинный четырехугольный ковер, а от него во все стороны разбегались узкие дорожки. Кое-где в просветах между ними виднелся блестящий желтый пол. Микола выбрал для себя одну из таких прогалинок возле дверей, стал на нее сапогами и тесно сдвинул широкие носки, чтоб не запачкать дорожки. Он стоял понурясь, все время на одном месте и ни разу не шевельнул ногой. Только глазами водил вслед за отцом Алоизием.

Когда отец Алоизий увидел опечаленное лицо Миколы и его понурюю фигуру, он совершенно утратил желание целоваться с ним... но все же чувствовал в сердце своем большую симпатию к Миколе.

— Ну, того... что же, уважаемый, кого... того... выбрали? — произнес отец Алоизий, улыбаясь и едва сдерживаясь, чтоб не засмеяться вслух.

Микола ответил не сразу:

— Да депутата ж выбрали. Столько людей съехалось, почему ж было не выбрать? И без меня бы выбрали.

В последних словах отцу Алоизию почудился упрек. И хоть и был уверен в том, что не давал никакого повода для этого упрека, он все же почувствовал себя неловко.

— Однако кого, сударь, выбрали? — спросил он уже с легкой тревогой.

Микола внезапно поднял голову и начал внимательно разглядывать потолок.

— А кого ж должны были выбрать? — ответил он. — Депутата выбрали. Точно батюшка этого сами не знают!

«Ага! — подумал отец Алоизий. — Я ведь ему не сказал, что было два кандидата. Но это нисколько не мешает: завтра все узнаю».

Микола рассматривал все время потолок и точно ждал чего-то. Отец Алоизий хотел сказать ему что-нибудь приятное, но так был сбит с толку неприветливостью Миколы, что ничего не мог придумать. Поэтому он отошел от него и опустил в кресло возле стола. Через некоторое время он опять задал вопрос:

— Ну что же, сударь, отдали карточку?

Микола мгновенно прекратил рассматривание потолка и уставился прямо в глаза отцу Алоизию. Отцу Алоизию мешала лампа, и он не мог разглядеть выражения

глаз Миколы, однако ему сделалось чрезвычайно неприятно. Поэтому он поднялся из-за стола и начал расхаживать по комнате. Микола неотрывно водил за ним глазами. Не дождавшись ответа, отец Алоизий задал опять тот же вопрос.

— Эх, ваше преподобие, ваше преподобие! И вы меня еще спрашиваете!

В этих словах отец Алоизий услышал не только упрек, но и глубокую жалобу. Он остановился и почти испуганно спросил...

— А что, что такое?

Микола поглядел на потолок, глянул в один угол, потом в другой и наконец, сложив молитвенно руки, наклонил голову набок и посмотрел на отца Алоизия укоризненным взглядом.

— За что вы меня, ваше преподобие, так тяжело наказали?

Отец Алоизий изумился. «Наверное, имел какую-нибудь неприятность! Может быть, арестовали?» — подумал он и вслух сказал:

— Это, знаете ли, Микола... того. Порой приходится, сударь, и потерпеть. Мы... того... еще как порой за общество... того.

Микола опять молитвенно сложил руки.

— Вот вы как, ваше преподобие, а у меня малые дети! Его преподобие не знают, как трудно сколотить деньги на поросенка.

Микола вздохнул.

— Да в чем же дело? — продолжал удивляться священник.

— В чем я перед вами так провинился?

— Я уже вас, сударь, просто не понимаю.

Микола снова осмотрел потолок, а затем опустил глаза.

— Его преподобие не понимают? — проговорил он с укором. — А как мне его преподобие квитанцию написали? Вон как писарь из Вишнева писал квитанцию, так в дверях по пятерке платили, а как я свою показал — так какой-то пан накричал на меня: «Тебе такую, говорит, написал поп, что, говорит, ты за нее кукиш получишь, а не пятерку!»

Микола говорил бы еще долго, но отец Алоизий так поморщился, точно хватил чего-то очень кислого: он начал шевелить пальцами у себя над ухом, и из его уст

хлынули потоком слова, точно вода по мельничным лоткам.

Он доказывал Миколу, что брать за голосование пятерку — вещь безнравственная, что продаваться на выборах позволяют себе лишь люди нечестные, что если кандидат должен приобретать доверие к себе за деньги — это означает, что он собирается впоследствии нанести избирателям какой-нибудь вред, а в заключение прибавил, что деньги давали за польского кандидата. Эти свои доказательства отец Алоизий изложил в следующих словах:

— Что вы, сударь... того? Да ведь это же, сударь, торговля, да ведь это же душу продают, а разве вы не знаете, сударь, что это... того? Если бы тот, кто, сударь, покупает, понеже, сударь, он за деньги покупает доверие к себе, да где же вы видели, чтоб затем такой человек, сударь... того? Мы русины, сударь, и голосуем за русинов, а ведь то поляк! А совесть где? А совесть, сударь, где? А душа, сударь, а совесть где? А... того, сударь, где?

Микола ничего не видел, ничего не слышал да ничего и не хотел ни видеть, ни понимать: он только смотрел в рот отцу Алоизию, дожидаясь момента, когда тот закроется. И как только дождался мгновения, когда отец Алоизий сомкнул уста, он сейчас же вновь принялся за свое.

— А все это, ваше преподобие, кухарка наделала. Я говорил жене: «Ты, милая, не гляди на то, что мы с его преподобием ладим, а за водосвятие дай что полагается». А она — нет! Послушалась кухарки: его преподобие, мол, от вас не возьмут. А оно вон как: не дал миски зерна, а потерял пятерку. Ой, ой, боже! Как я теперь домой покажусь, что мне жена скажет?!

Микола вздохнул, замотал всклокоченной головой и заскреб в ней всей пятерней. Отец Алоизий даже побавровел от волнения. Он с еще большим жаром принялся доказывать Миколу всю безнравственность подобной торговли, а когда пришел к выводу, что уже достаточно убедительно изложил свои мысли, спросил Миколу:

— Ну, теперь понимаете?

Микола с сердечным сокрушением ответил:

— Да понять я уже понял, а только что мне жена скажет? Как уж мы, ваше преподобие, мудрили, как уж тяжело нам доставался тот крейцер — да куда там: разве можно на поросенка собрать? А сегодня, господи милосердный! Да за пятерку молочный поросенок, жирный,

что твой монах! А может, его преподобие эту квитанцию еще исправили бы?

С этими словами Микола наклонился к руке его преподобия, но отец Алоизий, подняв руку, отскочил от него. Он уже ничего не говорил Миколу, но чувствовал против него такую злобу, что еле сдержался, чтоб не вышвырнуть его за дверь. Микола же по-прежнему просил исправить карточку или же написать прошение старосте о том, что карточка по ошибке так написана и потому на нее не выдали пятерку. Уломать же войта, чтоб тот приложил к этому прошению печать и дал свою подпись, Микола брался сам.

Однако отец Алоизий не позволил себя уговорить; он не хотел даже разговаривать с Миколой, а только кричал на него:

— Уходите, чтоб я вас больше не видел!

После того как Микола вышел, отец Алоизий решил расстаться с дураком навсегда. А Микола надумал вот что: «Если сегодня его преподобие злые, так завтра пойдут. Пойдет жена к кухарке, расскажет ей, как и почему так вышло,— и кухарка должна будет как-нибудь его преподобие упротить. Потому как все это из-за нее!»

ВОТ ПОСЮДА МОЕ!

I

Сколько раз ни возвращался Семен Заколесник с поля домой после тяжелой работы, он всегда находился в крайнем раздражении и сердился на всех. Кричал на жену, грозился дочери кулаком, а пса Белика, бежавшего за ним следом в хату, пинал сапогом в брюхо. К этому в семье Семена так привыкли, что удивились бы, случись иначе. И если порой выдавался денек, в воскресенье или в другой праздник, когда усаживались Заколесники за стол мирно, не переругавшись перед этим, — Семениха глубоко вздыхала и приговаривала шепотом:

— Грехи, грехи! У христианина только и дела, что грешить.

Словно бедному человеку и впрямь грешно быть счастливым и веселым; словно счастье для бедного человека в том запретном плоде, который только попробуешь — тут и конец тебе.

Но одним весенним вечером Семен, вернувшись с пахоты, учинил в хате такой содом, что мужики задерживались со своими плугами у его ворот, закуривали трубки и начинали поправлять упряжь на лошадях.

— На этот раз, видать, он как следует муштрует свое войско! — говорили они друг другу.

— Не то вешает их, не то шкуру дерет!

— Тоже скажете! Такого искусника не найти, чтоб Семениху повесил. Петля не захлестнется: такая легкая, что по воздуху носилась бы.

— А кожу и зубами от кости не отодрать!

А Семен все орал на жену, все молотил кулаками дочку, а потом присел на скамейку и принялся рвать на себе волосы.

— Ой, ой! Грабители!

Семениха взялась за веник — подмести возле печки,

но, увидев, что муж рвет на себе волосы, сказала, наклонившись над веником:

— Ты что, совсем спятил сегодня?

Семен как-то странно поглядел на нее и сразу же обмяк:

— Так знай же, что и впрямь спятил. Такое натворю, что и сотый закается. Юрко, чтоб ему семь лет подышать, труд мой ворует: землю перепаживает!

Семениха выпрямилась и подняла веник, как ложку во время еды.

— Какой Юрко?

— Онуфриев, какой же еще?!

Семенихе так не хотелось этому верить, что она прикинулась, будто не расслышала, о чем говорит муж; поэтому она продолжала допытываться:

— Какую землю?

— Да на поле!

— Что ж он делает?

— С тобой говорить — надо раньше гороху наестся, — ответил Семен, однако, совершенно беззлобно.

Дело было такое, о котором следовало бы посоветоваться; поэтому Семениха приняла ответ мужа за подтверждение сказанного уже им прежде.

— А чтоб его бог тяжко покарал и побил! Вот грабитель! А чтоб у него, дай господи, руки отсохли!

Семеном снова овладел приступ ярости: он вскинул руки, точно стараясь поймать что-то падающее сверху, и то сжимал пальцы в кулак, то опять разжимал их, всякий раз при этом скрежеща зубами.

— Ой, ой, ой! Кабы застукать его, кишки б ему выпустил! Греха за это не побоялся бы! Да я еще встречу его где-нибудь на узкой дорожке, еще изувечу! Авось я выпрошу у бога для себя такую милость!

Семениха уже не подметала. Она поставила веник в угол у дверей, поправила на себе узорчатый пояс, уперлась правой рукой в бедро: готова к ссоре. Христианин пусть дела и не сделает — зато хоть выговорится, и то ладно!

Выпадал тот редкий случай, прямо так и напрашивался, чтоб хорошенько разругать Семена! А то ведь заведись с мужем, когда он сердит, так еще и за косы оттащает! Поэтому-то Семениха собиралась издалека подойти.

— А ты, что ж, не мог назад оттягать?

Семен глянул искоса на жену и скривился.

— Какая ж ты умная! А могу я теперь отобрать то, что он каждый год у меня отпахивал?

Взяли Семениху злоба и тоска. Злоба оттого, что она боялась Семена и не могла его изругать, а тоска — по земле. Вышла Семениха во двор и подняла плач, точно по покойнику.

II

После ужина Семен постелил себе во дворе на телеге и улегся на спину. Где-то вдали жалобно лаяли собаки, ветер доносил с поля песню, которую пели парубки, гнавшие лошадей в ночное. Над головой звенели странными голосами комары. Этот лай, эта песня, эти голоса словно убаюкивали Семена:

Ой, сыночку да-а-а-ла сла-адкого ме-еду...

Словно над ухом Семена вызванивали комары эти слова, словно плакали они над долей несчастной невестки, которой теща дала змеиного яду¹. Как вдруг: плуг, четыре вола и к тому же еще Юрко за плугом! Говори всяк что угодно, а Семена словно иглой в самое сердце кольнуло. Широко раскрыл он заспанные глаза, прислушивается: нет, это не комары плачут, это парубки поют!

Над ним широкое небо: мигают звезды, будто детские глазенки, месяц заткан серебряной паутиной, — точно голова из льда, смотрит он сверху упрямо в одну точку и даже бровью не поведет. Тоскливо стало Семену.

— А я-то дивлюсь, куда он девался, тот всегдашний сухой ком у Юрковой межи! Поверху ссохся на солнце, даже серый весь, а с исподу сырой, черный. Борона его не брала, надо было каждый год сапогом разбивать.

Эге, Семена никто не обманет! Ком этот, да и вся борозда теперь на стороне Юрка. Но Семен узнает свою землю, как ни меняй межу! Всегда узнает: вот посюда мое! Узнает свою землю и за сто межей, в десятом селе. Как знает он свою скотину — так знает и свою землю!

Прошлый год пахал он от середины к краям, и как раз одной борозды не хватало. Ишь чего натворил: все надел сузил!

Святая земляца! Кабы могла, удрала бы через межу с поля Юрка, съежилась бы, вздулась бы кверху, а вер-

¹ Из народной сказки.



нулась бы назад к Семену! Да не может она... Хоть и кормит нас, крещеных, да уж так ей господь милосердный положил: терзай ее, режь, а она и не дрогнет.

А будет ли Юрко заботиться о ней, как Семен о ней заботился? О краденном сердце не болит. Даже тоска берет: в чьи руки попала эта земля!

Семен перевернулся на левый бок. Подложил кулак под голову и уставился в грядку телеги. Его взяла досада.

— По какому праву Юрко грабит мой труд? От деда-прадеда мое!

Запахать! Топор за пояс, плуг поглубже и по свое отобрать! А станет Юрко перечить — топором по лбу! Прочь, вражий сын! Я свою отбираю!

— А урожаи мои где?

Семен опять лег на спину и опять впери́л взгляд в ясные звезды, в ледяной месяц, в темно-голубое небо. Жалость подкатилась к его сердцу.

— Кабы знать, докуда мое? Могу ли я теперь то отобрать, что, может, Юрко уже десять лет как запахивает?

Правда, и Семен отпахивал у него не раз по борозде; да ведь этот вор, когда берет — так не по одной!

— Не угадаю, сам себя обману...

Семен перевернулся на правый бок. Подложил под голову кулак и уставился глазами в сноп, служивший ему подушкой.

Как это так! Чтсб ворам удержу не было! Семен бы его в тюрьму навеки! Есть же в конце концов какой-то закон на свете!

Семен подхватился и сел.

Землемеры же всю землю перемеряли. Каждый участок, каждый клочок на картах стоит. Пускай приезжает комиссия — сразу же убедится, докуда чье!

Под суд Юрка!

III

Никто не знал, как болел сердцем Семен о тех деньгах, которые уже истратил и которые ему еще предстояло истратить; но никто не знал и того, как тешило Семена сознание, что на его земле состоится обследование комиссии. В воскресенье, возле церкви, подошел он к группе самых крепких хозяев, послушал-послушал их разговоры, да и говорит:

— А у меня комиссия будет.

Прищурил глаза, насупил брови, задрал голову кверху, словно никого не видит вокруг, — а только одну церковь да голубое небо. Как будто говорил этим: знайте, мол, богатеи, что и с Семеном паны знаютс! Уже даже не чувствовал никакой злобы против Юрка. О нем никому и не упоминал, а лишь о комиссии. Да, веское слово, что и говорить: пошел в город, положил деньги, — и вот, видишь, по его вызову приезжает комиссия.

Не жалко ему было и свинью продать на такие расходы. Выложил чистоганом девять левов и две шистки

без трех крейцеров. А остаток денег, полученных от продажи свиньи, спрятал в сундук.

Не так было с Юрком. Его испугал этот случай. Мужик — что дуб, силен, как медведь; работа так и горела в его руках. И только один у него недостаток — очень уж неречист: пока слово вымолвит, сначала раза два кашляет. Не то чтоб у него в груди дух спирало, но сойдутся слова комом в горле так, что ни одному не пролезть. Юрко кашляет, да и выхаркнет какое-нибудь слово совсем некстати. При этом он краснел, как свекла, глаза на лоб лезли, а на шее вздувались синие жилы, точно жгуты.

Пока к Юрку доходили только слухи о комиссии, он не слишком огорчался. Но когда ему принесли повестку в суд, Юрко перепугался.

— Гляди... я, понятно... не того... Пускай берет! — сказал он жене.

И жена его поняла. Она так к нему привыкла, что по глазам понимала, чего он хочет.

— Что с тобой? — сказала жена. — За свое надо и в суд идти. А он — «пускай берет»! За печенку б его взяло, как он на наше кровное зарится! Собирайся и ступай к адвокату.

— Я, знаешь, не пойду, — простонал Юрко.

Жена поглядела на него широко раскрытыми глазами, собираясь выругать, но, увидев перед собой мужика ростом под потолок, который краснел и прятал глаза, словно стыдливая девица, окончательно смягчилась:

— Да что это ты, Юрко, плетешь несусветное? Тебя там волк не съест, отчего ж ты боишься идти?!

— Да видишь, понимаешь, не знаю...

Жена принялась его убеждать:

— Да ты сам подумай, Юрко! Если не пойдешь на суд, то землю потеряешь. Да наберись ты хоть раз смелости. Семен станет землю забирать, а ты будешь его бояться? Такое ж и в сказке никто не придумает! Ведь ты уже не мальчишка, а хозяин. Хоть раз-то надо себя людям показать!

Юрко глянул на жену сузившимися глазами и простонал:

— Ты меня, понимаешь, на экзамент не тащи, потому как я, знаешь, все равно не пойду...

Юрчиха вынуждена была идти вместо него сама. Она, впрочем, и раньше знала, что ее уговоры этим кончатся.

Но все же сделала попытку: надеялась, что, может быть, ей на этот раз удастся сломить упорство Юрка.

— Хэ, ты, голубчик, вырос до потолка, а ума ничуть не прибавилось! — сказала Юрчиха и на следующий же день собралась и поехала к юристу Бабинюку.

Семен узнал в тот же день, что Юрко обратился к адвокату. Не долго думая, он и сам махнул в город. Но там ему туго пришлось. Его адвокат Розник меньше чем о двенадцати ринских и говорить не хотел. Денег от продажи свиньи Семену еще хватило бы, но он запечалился, что и без того их ушла пропасть. Это легко сказать: тридцать и один лев, но отдавать их — волосы дыбом встанут! Ведь эта сумма — целое состояние!

Однако адвокат его утешил:

— Он тебе все расходы возвратит, а рисковать без адвоката — дело может кончиться плохо.

Семен уже внутренне согласился с этим, но считал нужным не подавать виду.

— Это серьезное дело, я еще должен с женой посоветоваться.

IV

Так уж Семен вбил себе в голову, что это обязательно нужно, чтоб жена сказала: «Бери адвоката», а если бы и не сказала, то чтоб хоть намекнула, что надо взять. Поэтому после обеда он присел на лавку у окна и завел с женой разговор:

— Кабы ты знала, до чего в тех селах всходы хороши. Куда ни глянешь — пшеница и рожь словно щетка.

Жена, не привыкшая к беседам с мужем, да еще мирным, только вздыхала и пришептывала:

— Грехи! Грехи!

А Семен продолжал:

— Нынче каждый клочок — золото, каждая пядь земли. Кто своего не любит, тот не стоит и того, чтоб его святая земля на себе держала. Ну, да я не допущу! Ого-го! Он думает, с кем завелся?! Вот пускай только комиссия приедет! Отдал я девять левов и две шистки без трех крейцеров — так по крайности знаю, за что.

Семениха тем временем вымыла посуду и уже собралась было выйти во двор, но последние слова Семена ее остановили.

— Ой! И ты этакую кучу денег растранирил?

— А ты как же думала? — отвечал Семен, несколько

сбитый с толку.— Это ж комиссия, рассуди-ка ты сама, своей собственной головой! Много ты знаешь в селе таких хозяев, на чьей земле была комиссия? А на моей будет. Не думай-ка! А он, знаешь, что говорит?

Семениха стояла посреди хаты в такой позе, словно торопилась куда-то, словно вот выслушает два-три слова — и опять за работу. Поэтому она не знала, то ли ей отвечать по-настоящему Семену, то ли приниматься за какую-нибудь работу? Правда, они не один раз советовались между собой, но только по праздникам, да и то лишь по поводу свиней или другой скотины. А тут вдруг какая-то беседа с мужем! И не праздник, и муж не пьяный,— а ты ни с того ни с сего калякай с ним, как с кумом на крестинах. Разве не грехи?

Семен тоже замаялся, он помолчал немного, уставился в землю — и снова:

— А знаешь,— сказал он,— что он говорит?

— Кто?

— Да Юрко, кто ж еще! «Ты, говорит, приводи себе, говорит, хоть десять комиссий, а я, говорит, привезу адвоката, и все у тебя пойдет прахом». Вот что он мне через людей передает, чтоб его возило на собственных ребрах! Ну да, брат, я еще вьюсь тебе в печенки! Я об этом рассказал своему адвокату, так, знаешь, что он посоветовал? — закончил уже не так смело Семен.

Семениха стояла с таким видом, словно была чем-то пристыжена, и не произносила ни слова. Семен опять уставился в землю и уже не выговаривал, а жевал слова:

— Он мне посоветовал: «Коли, грит, Юрко берет адвоката, так бери и ты. Потому, грит, коли у него будет адвокат, а ты один будешь, так это, грит, все равно как если б Юрко пошел бы на тебя с цепом в руках, а ты против него с голыми руками. Кто б тогда, грит, от кого бежал бы?» Да так оно в аккурат и есть! Что мужик, сама посуди, понимает в законах? Мужiku по плечу цеп, сапка, коса, а что касается грамоты, так тут мужик глуп, как, понимаешь, эта стенка!

С этими словами Семен выпрямился на лавке, повернулся вправо, согнул палец и постучал суставом о стену.

— Потому как, понимаешь, это не штука, к примеру, понести расходы... А вдруг его адвокат да напустит на меня какой-нибудь туман или другое что? Тогда пиши пропало!

Семен сплюнул и искоса поглядел на жену, ожидая,

что она ему на это скажет. Но Семениха решила, что разговор кончен, и направилась к дверям... Семен чуть с места не вскочил, чтоб ухватить ее за пояс.

— Да погоди ты, я ж хочу с тобой кой о чем посоветоваться!

Семениха остановилась, испуганная. Советоваться — теперь?! Свинью уже продали, и опять советоваться! Сам говорит «советоваться», а толкует про адвоката. Сказать бы, что муж пьян, так Семениха понять не может, где бы и чего бы он мог нынче хватить? Сказать бы... Нет, тут что-то не так. А Семен между тем бубнил:

— Расходы он мне все вернет. Так мне говорил мой адвокат. О, это голова, хоть и не нашей веры! Быть адвокатом не каждому дано. Что он мне со своим Бабинюком, коли я против него своего Розника выставлю? Он их обоих в угол загонит.

Семен немного помолчал, а жена по-прежнему не знала, что ей делать. Уж не заболел ли муж, не про нас будь сказано? Ходит там через чужие села, — может, и прицепилась к нему какая хворь? Да будь что будет, а надо ему это сказать!

— Да ты ж мне это говоришь, а я, ей-богу, не пойму что...

Семену сделалось неловко.

— Гм, в том-то и беда. Да слышишь же: люди передают, что Юрко адвоката берет. Я против него вызвал комиссию, а он адвоката берет, чтоб по-своему все повернуть. Так вот, понимаешь, и мне надо взять адвоката. А расходы он мне все должен будет до последнего гроша вернуть. Мой адвокат хочет двенадцать левов за то, чтоб сюда приехать, и нужно дать, ничего не поделаешь.

Семениха помертвела: побелела, как мел, губы стали лиловыми, как сирень, а глаза наполнились слезами.

— Господи милосердный! Ишь, какую он мне начал чепуху городить! Ему и эти последние крейцеры в сундуке мешают! Унес бы все, что есть, из хаты и роздал бы адвокатам. И греха ты не боишься? Да лучше бы все огнем пожгло! Я молчала, а теперь, ей-богу, не стану молчать. Из горла у тебя выдеру, а не дам! У людей хозяева норовят в дом, а этот последнюю животину отдал бы, только бы бросить в пасть адвокату!

Семен не ожидал этого. Он не знал, что отвечать, как защищаться, и молчаливо слушал женину ругань. Наконец решился ответить.

— Да ты погоди! Не знает еще, что к чему, а уж подняла такой крик, что птица на крыше не усидит! Да он же все расходы вернет...

Семениха перебила его:

— Показывай мне груши на вербе! Не дам, хоть убей меня, не дам! — крикнула она.

Семен вскочил с лавки, стал возле стола, выгнулся, точно кот, готовящийся прыгнуть на мышь, и сжал правую руку в кулак, словно собираясь швырнуть в жену камнем.

— Цыц. Слышишь, цыц! — заорал он на жену. — Подумать только: она меня расточителем обзывает! Ой, не попадайся лучше мне под руку! Ишь ты, лезет мне советы давать... Советчица моя! Цыц! Она советуется со мной!.. А ну-ка к горшку! Там твое дело!

И началась в хате у Семена такая ссора, что, услышав крики, прохожие приостанавливались. Семен закончил ссору тем, что вынул из сундука все деньги и понес их адвокату.

V

В четверг утром Семен не вышел на работу, так как в полдень должна была приехать комиссия. Он был занят тем, что сзывал к себе дружески расположенных к нему людей, чтобы они были у него за свидетелей. И люди эти явились: пришел войт, пономарь и два дальних родственника Семена.

Эти люди пришли, во-первых, потому, что хотели оказать Семену соседскую услугу: свидетельствовать, если понадобится, в его пользу; во-вторых — потому, что комиссия очень редко приезжает в село, и хозяева в таких случаях жертвуют своим рабочим днем. Больно уж тянет их поглядеть на лошадь, запряженную в экипаж с колокольчиком, на судью в чиновничьей фуражке, на сторбленного писаря. А тут и два адвоката собираются приехать. Кто кого?! А войт пришел еще и потому, что он обязан быть там, куда является какой-нибудь чиновник.

Таковы были причины, побудившие этих людей прийти к Семену. Однако эти причины были только так, для отвода глаз, а на самом деле всех этих людей привело сюда совсем другое. Они не столь были расположены к Семену, сколь ненавидели Юрка, и хотели насладиться видом того, как Юрко проиграет процесс, и, может быть,

вернуть и самим какое-нибудь словцо, которое бы Юрку пошло во вред.

За что они ненавидели Юрка? Коротко сказать — за то, что этот неречистый Юрко — «читальник». Какой это грозило им бедой, они не могли бы сказать, но нутром чувствовали, что Юрко этим словно бы чинит им какую-то пакость.

Ненавидели они Юрка за то, что он организовал читальню и очень ревностно посещал ее. Ненавидели его за то, что, когда происходили какие-нибудь выборы, Юрко бросал работу и хоть сам и не отваживался вступать в споры с комиссией и, голосуя, нередко путал, но зато ходил от хаты к хате, созывал людей и, стоя возле канцелярии, следил, точно пастух за стадом овец, чтоб они никуда не разбегались. Ненавидели они его за то, что Юрко только и ждал случая, чтобы по делам читальни его куда-нибудь послали. Он относил письма на почту и приносил с почты в читальню газеты. В общем, они ненавидели Юрка за то самое, за что его любили посетители читальни.

Они видели, что в селе возникает какая-то новая порода людей, которая хочет сломать старые обычаи. А им эти обычаи были по душе.

Эти обычаи были таковы: не видеть света дальше своего родного села; не возмущать сельскую поэтическую жизнь никакими новыми стремлениями; сохранить на возможно более долгий срок наивные детские взгляды на все окружающее. Они не располагали ничем для того, чтобы одолеть в борьбе новую породу людей, и, кроме того, вынуждены были в глубине души признать правоту сторонников читальни. Но тем сильнее они их ненавидели.

Войт же и по обязанности был противником Юрка, боясь, что сторонники читальни при перевыборах скинут его с должности, и в то же время страшился присоединиться к ним, так как видел, что поляки, командующие из города крестьянами, ненавидят это новое народное движение.

Войт побрился так, что лицо блестело, как зеркало, надел новый сардак¹ и нацепил на грудь медаль за участие в войне с босняками. Семен приветствовал войта очень любезно, чуть руки ему не целовал. «Как-никак, — думал он, — войт знается с панами. Может, какое-нибудь словцо за меня вставит? Этого, верно, будет достаточно,

¹ Сардак — расшитый шнурами теплый кафтан (галицийск.).

коли судья увидит, что войт ко мне хорошо относится. «Вот, подумает, порядочный хозяин, раз сам войт с ним дружбу водит; стоит повернуть дело в его пользу». Что ж? Нам неведомо, кому и чем надо угождать».

А Юрко тихонько поднялся еще затемно, вышел во двор, сложил бороны на повозки, прихватил с собой челетку¹ ячменя и приготовился ехать в поле. Жена, заметив это, бросилась из хаты — и:

— Юрко! Ты,— говорит,— куда?

— Видишь, сеять.

— Да ты не прикидывайся дураком! Комиссия ж приедет!

— Я, видишь, понимаешь, не того...

Юрчиха знала, что, если его не заманить в хату, он уедет в поле. Но что с ним можно поделывать во дворе? Обязательно сбежит куда-нибудь!

— Что ж ты поедешь без завтрака? Иди позавтракай.

Юрко уж рад бы и не завтракать, только бы в хату не входить.

— Я, знаешь, не хочу,— врал он, отнекиваясь,— сунь, понимаешь, краюху хлеба... того... в торбу — и все.

Юрчиха настаивала:

— Так я тебя и отпущу с краюхой хлеба в поле! Точно батрака какого... Да иди же, Юрцуня, иди. Только на минутку, сейчас же и выйдешь.

Юрко отказывался.

— Зайди, я тебя прошу!

Юрко был такой, что и малого ребенка послушался бы, не то что жены. Он вошел в хату, решив, однако: пусть жена что угодно говорит, а он никуда не пойдет! После завтрака жена сказала Юрку, чтоб он надел чистую рубаху. Юрко отказывался, но жена уперлась: надень да надень! Юрко поддался уговорам, но: «Пойду,— думает,— в чистой рубахе на работу». Но вот жена начинает уговаривать его, чтоб он, когда наступит полдень, пошел на суд.

— Нет, ни за что не пойду!

— Да побойся же бога! — убеждает жена. — Ты посмешищем сделаешься. Никто не поверит, что у тебя характер такой, а скажут, что ты дурак.

Юрко упорствовал:

— Пускай говорят!

Юрчихе просто непонятно было такое упрямство. Она убеждала его, как могла, а он — все нет да нет!

¹ Ч е л е т к а — мера зерна в 25 килограммов.

— Потому, видишь, коли пойду — так проиграю, — отговаривался он.

— Проиграешь — тоже невелика беда! Адвокат мне сказал, что дело идет не обо всем участке, а лишь о нескольких бороздах. Бог с ними, коли проиграешь, — лишь бы посмешищем не стать.

— Пускай, понимаешь, отберет, — стонет Юрко.

— Пускай бы уж отобрал, — возражает жена, — да только чтоб было, как у людей. А это ж как выйдет? Отберет, а тебя и не будет при этом.

— Я все-таки, понимаешь, не пойду, — заупрямился Юрко.

Юрчиха не знала уж, что и сказать ему. Был бы он плохой муж, лодырь, пьяница никудышный — изругала бы, осрамила бы, и — пропадай ты пропадом! А то ведь и работник добрый, и человек такой мягкий, чисто голубь; один только недостаток: неречист и робок. Что тут делать и как тут быть? Думала Юрчиха, думала и придумала:

— Знаешь что, Юрко, пойдем вместе. Ты там только постой, чтоб люди не подумали, что я вдовая.

Юрко согласился:

— Разве что так...

Ровно к полдню явились Юрчиха с мужем на участок, где должно было происходить судебное разбирательство. По дороге она наставляла мужа, чтоб он поцеловал сначала руку судье, а затем своему адвокату. Юрко не соглашался:

— Я, знаешь ты, даже не слышу всего этого...

Слышит Юрко или нет, а Юрчиха продолжала его наставлять: и как ему стоять, и что ему говорить, — столько Юрку наговорила, что он только глазами захлопал, да и говорит:

— Коли ты, понимаешь, вот как, — так я, знаешь, лучше ворочусь.

Юрчиха смолкла. Уж больше ничего ему не говорила, — только бы шел!

На спорном участке уже стояли Семен, войт, пономарь и с ними еще двое людей. Поэтому Юрчиха с мужем остановились поодаль, чтобы не стоять на виду рядом с Семеном. В группе, окружавшей Семена, велись разговоры, а Юрко с Юрчихой дожидались молча.

Через три часа подъехали два экипажа. Юрко с женой подошли поближе.

Судья был зол, так как его растрясло и от этого разболелась голова. Он поднял крик на Семена за то, что тот из-за такого пустяка затеял процесс. «Договоритесь сами!» — кричал он. Но ни Семен, ни Юрко не знали, что им делать. Судья злился еще и потому, что было два адвоката и он не мог покончить с этим делом сразу, — то есть повести его так, чтобы мужики ушли домой ни с чем, а ему бы не потребовалось составлять протокол.

Тем временем Юрко, стоя в стороне, рассуждал сам с собой: «Если только судья начнет на меня кричать, я скажу: пускай забирает, а сам удеру». Но никто на него не кричал. Когда судья увидел, что ему не удастся ввиду присутствия адвокатов прогнать тяжущиеся стороны домой, он — рад не рад, а взялся за разбор дела: велел Семену указать, что именно Юрко захватил, и рассказать, когда и как это произошло. В ответ на это судья услышал от Семена следующее:

— Когда захватил, я не знаю, а сколько захватил — не скажу.

— Вот это лучше всего! — произнес судья. — Зачем же я сюда приехал? Если ничего не знаешь, так я уеду обратно.

Розник отвел Семена в сторону и велел ему рассказать суду все до конца, — в противном случае выйдет плохо. После этого Семен стал говорить уж что-то слишком много. Он начал с того сухого кома, который каждый год приходилось разбивать сапогом.

Юрчиха слушала-слушала, и ей показалось, что Семен что-то больно много врет. Боясь, что вранью Семена поверят, она шепотом подзуживала мужа:

— Скажи, что это неправда.

Но Юрко и бровью не повел. Убедившись, что ей не заставить мужа разговаривать, она решила вмешаться сама и начала возражать Семену и перебивать его:

— Это неправда!

— А вот и врете!

В конце концов, то и дело перекрикивая Семена, она заговорила тоже. Семен — свое, а Юрчиха — свое.

Судья накинулся на Юрчиху:

— А ты что тут делаешь? Ты кто такая?!

— Я жена его, — ответила Юрчиха и указала на Юрка. — Да говори же! Чего молчишь? Не слышишь, что Семен тебя топит? — говорила она громко Юрку: не

потому, что он не слышал, а затем лишь, чтоб и судья и адвокат сообразили наконец, что Юрко неречист.

Но это не помогло. Судья запретил ей разговаривать: если еще хоть слесом обмолвится, он ее оштрафует.

Перетрусившая Юрчиха зашептала адвокату, чтоб он говорил вместо Юрка, потому что Юрко неречист. Адвокат успокаивал ее, указывая, что ему еще не время говорить, но она по-прежнему испытывала страх и едва сдерживала слезы.

Участок Юрка был до этого под картошкой, а Семена — под рожью. Адвокат Юрка указал судье на то, что участок Юрка вспахан, а между тем стерня даже не затронута — ибо на последней борозде вспаханного участка не было ни единой соломинки. Ясно как на ладони, что Юрко не виноват.

Судье очень понравилось наблюдение, сделанное адвокатом, так как после него уже не требовалось выслушивать свидетелей. Адвокаты подсчитали издержки, велели Юрку и Семену расписаться, судья что-то пробормотал себе под нос, и все кончилось.

Розник сразу же сел в экипаж и завел для виду какой-то разговор с писарем, — чтоб не пришлось сообщать Семену, чем кончилось дело. Зато второй адвокат громко сказал Юрку и Юрчихе:

— Ну, вы выиграли. Семен обязан вам возместить расходы в сумме десяти левов.

Юрко закашлялся:

— Я, понимаешь, ничего, видишь, от него не хочу.

Юрчиха была другого мнения:

— Да что это ты, Юрко? Тебе так тяжело достается каждый крейцер — и дарить ему такие деньги! Ты хочешь бросить на ветер тот крейцер, что с таким трудом зарабатываешь?

Юрко опять закашлялся:

— Понимаешь, от работы еще никто, знаешь, не того; пускай, знаешь, пропадает.

Комиссия уехала. Семен стоял как в воду опущенный. Не знал, верить адвокату Юрка или нет? С одной стороны, ему казалось странным, чтобы он мог проиграть дело, но опять же тут что-то в этом роде есть, раз адвокат Юрка такое говорил, а Розник хоть бы слово пропищал. Не хотелось Семену верить, что он проиграл дело, но вместе с тем у него не было ни малейшего повода радоваться окончанию процесса.

— Это они что-то натворили,— цедил сквозь зубы Семен, обращаясь к своим,— налетели, как птицы, посидели, как на углях, и исчезли, как дым. Я этого, ей-богу, не понимаю.

VI

Еще по дороге домой Семен думал о том, что будет бить жену,— так он был разъярен! Но когда дошел до своего дома, он уже не чувствовал ничего, кроме досады, что затеял дело, и обиды на комиссию. Деньги с него взяли, велели уплатить еще судебные издержки, разругали хорошенько и уехали!

«Дурака везде бьют,— думалось Семену.— Что ни говорил им — все было плохо, ни одного слова кстати не сказал. Кабы я все умно говорил — кто знает, может, и в мою бы пользу вышло?»

Жене он ничего не сказал, даже не обратился к ней ни с одним словом. Сразу же по возвращении домой взялся за работу. Думал, что за работой обо всем забудет. Да не тут-то было! Только и дум, что о комиссии.

— И к чему мне было начинать? — корил он себя.— Пускай бы пропадала там к чертовой матери!

В хату он боялся заглядывать, так как знал, что жена зацепит его, и тогда начнется драка. Чувствовал, что виноват, но только не понимал почему. Все будто делал так, как надо, будто иначе и нельзя было делать,— а все обернулось к худу.

— Не надо было свинью продавать, не надо было денег из дому уносить. Я сам себя ограбил, вог что!

Эта мысль не выходила у него из головы. Днем не давала работать, а ночью спать. По лицу жены понимал, что и она думает то же самое. Боялся жены, а она его — еще больше. Оба чувствовали, или она не вытерпит и начнет его попрекать, или он тоже, в свою очередь, не вытерпит и учинит драку. Оба поглядывали друг на друга со страхом и ненавистью. Боялись, что вот-вот сдерживаемое с таким трудом молчание прорвется; и еще пуще ненавидели друг друга — точно собака, норовящая укусить, и кот, готовый фыркнуть и царапнуть.

Оба чувствовали, что конец молчанию непременно наступит. И чем дальше он оттягивался, тем сильнее становились страх и ненависть.

Уже бывали минуты, когда они сами заглядывали

опасности в глаза, словно изнемогли от долгого ожидания. После таких минут они убегали куда-нибудь подальше друг от друга, испытывая страх от сознания, что были так недалеко от беды.

Третьим по счету днем после комиссии было воскресенье. С самого полдня Семен вертелся во дворе, без всякого дела. И вдруг решил войти в хату: он знал, что там Семениха и дочь.

«Эх, пускай уж на этот раз конец будет! Всему пускай конец будет!»

Так подумал он и пошел не в хату, а на конюшню. Посмотрел там на лошадей, таскавших сквозь решетку яслей по стебельку соломы и лениво хрупавших; посмотрел на лежавшую корову, которая повернула в его сторону голову и, убедившись, что он явился с пустыми руками, мотнула головой и боднула рогом ясли...

«А должно ли так быть? — думал Семен. — И почему люди так враждуют меж собой? Отчего такая ненависть? Вот божья скотинка — какая она кроткая: жует соломку и никого не трогает. А человек о том лишь и хлопочет, чтоб кого укусить. Женятся, чтоб друг друга всю жизнь грызть».

Так думал Семен. Но это были неискренние мысли. Он попросту хотел оправдаться в собственных глазах, так как знал, что поступил дурно, что у жены есть основание ругать его и что он за это ее побьет. И еще сильней ненавидел жену, еще больше злился на нее за то, что она была права.

Он вышел из конюшни во двор, остановился в воротах, раздумывая, какой бы найти повод, чтоб сейчас же накинуться на Семениху — еще до того, как она затеет с ним ссору. Она иссохла, как щепка, все кашляет за работой... Нет! За это ее можно ненавидеть, но бить тут не за что.

Через дорогу, в садике, вишня ловила своим молочным цветом пролетающих пчел и не отпускала их до тех пор, пока они не слизывали с цветов сладкого сока. Воробьи кричали на вербах, подбирая сонных майских жуков. Ласточки прочерчивались черными молниями, просвистывая над самым ухом. А все это вместе взятое не позволяло Семену ткать дальше свои черные думы: к его сердцу подкралась легкая жалость.

«Божья пчелка, божья пташка, — думал Семен, — трудится все время, и в воскресенье, и в праздник, — а все-

гда весела. А человеку господь бог назначил отдых, но зато и грызню, и ненависть. Все мы грешные, потому и какает он нас еще на этом свете».

Тут Семен увидел приближающегося к нему Панька, чей путь лежал мимо его двора. Панько был посетителем читальни, и поэтому Семен хотел скрыться, не желая встречаться со сторонником Юрка. Но скрыться было некуда, разве что в хату, а Семен теперь ни за что на свете не вошел бы туда. Так он и остался стоять в воротах, дожидаясь Панька и думая: «Пускай уж смотрят на меня люди, как на вора, потому как я лучшего не стою».

Панько подошел и, к удивлению Семена, завел с ним разговор. Он начал уговаривать Семена пойти вместе с ним на сходку.

— На какую сходку? — спросил Семен.

— А вы не знаете? Да у нас же сегодня сходка, — ответил Панько и рассказал Семену, что вот уже две недели как происходят выборы в парламент, что сегодня собрание в риге у Олийникова, что на это собрание приехали сторонние люди и там будут обсуждать, кого избрать депутатом.

Семен пошел бы с радостью, не столько из любопытства, — все это его ничуть не интересовало, — сколько для того, чтобы удрать куда-нибудь подальше от своей хаты, но он всегда сторонился этих «читальников» и поэтому полагал, что туда идти ему неловко. Однако Панько успокоил его, сказав, что на сходке будут и «нечитальники». Семен дал себя уговорить и отправился вместе с Паньком. По дороге Панько говорил о кандидате, которого намечают избрать депутатом, но Семен мало слышал из этого рассказа, так как думал о своем: задержаться как можно дольше в селе, чтоб домой вернуться попозже.

VII

Когда Семен с Паньком явились к Грицьку Олийникову, сходка уже давно шла. Увидев сквозь раскрытые двери риги тесно стоявшую там толпу людей, Семен прежде всего удивился, что все смотрят в одну точку и что в риге так тихо. Он оробел и наверняка пошел бы обратно, если б не чувство уверенности от сознания, что он идет вместе с «читальником» Паньком. Вторым поводом к удивлению являлось то, что, когда он протиски-

вался сквозь толпу знакомых, чтоб стать позади, никто даже и не взглянул на него.

Здесь было довольно просторно, так как собравшиеся теснились как можно ближе к возвышению, на котором стоял стол и находилось несколько человек. Только теперь Семен расслышал, что кто-то, стоя на самом краю возвышения, говорит, и притом так громко, что это для Семена явилось третьим по счету поводом к удивлению: как мог он раньше не услышать такую громкую речь?

Семен не старался понимать эту речь, а лишь прилагал все усилия к тому, чтобы увидеть, кто говорит. Приставив ко лбу ладонь козырьком, он пристально вглядывался, но ничего не мог разобрать. Падавший сбоку через двери луч освещал лишь середину риги, и лица людей, стоявших у другой стены, разглядеть было невозможно. Семен прищуривал глаза, наклонял голову то в одну, то в другую сторону, но никак не мог рассмотреть даже того, сколько же человек находится на возвышении?

Спустя некоторое время, когда глаза Семена попривыкли к сумраку, он увидел, что за столом сидел заведующий читальней, а рядом с ним еще какой-то очень молодой пришлый человек. Он сидел склонившись и не то что-то разглядывал на столе, не то писал. Семен ломал себе голову над вопросом: из какого села может быть этот молодой человек?

Здесь же, у стола, стоял еще какой-то пришлый человек, но, пожалуй, постарше, так как Семен разглядел, что он уже седоват. Каков он собой, Семену в точности не удалось рассмотреть, но ему показалось, что у этого человека румяное лицо и очень быстрый взгляд, потому что он то словно смотрел куда-то вверх, то поверх голов собравшихся, а порой, хоть и реже, прямо в лицо Семену. Разглядывая этого человека, Семен невольно стал вслушиваться в его слова, так как, собственно, этот-то человек и говорил.

Но как внимательно ни ловил Семен каждое слово оратора, он все-таки не сразу мог понять, о чем тот говорит. Семен только внимательно вслушивался в звук его речи, думая в то же время о том, откуда может быть этот молодой человек?

Вдруг Семен вздрогнул: ему показалось, что оратор обратился к нему.

— Отойдите-ка немного от дверей, потому что мне

плохо видно, а я хочу вам кое-что прочесть,— произнес оратор и взял со стола какую-то бумагу.

«Это он не мне сказал, потому как я не возле дверей»,— подумал Семен, увидев, что люди, загораживавшие свет, зашевелились. И все же Семену казалось, что оратор сейчас обратится к нему. Оратор же начал так:

— Теперь я вам прочту о том, какого депутата должна выбрать наша мужицкая партия.

После этого он начал читать, что депутат обязан уменьшить мужицкую неправду, а мужицкая неправда — в том-то и в том-то.

Слушая это чтение, забыл Семен, где он и что с ним, и старался только поймать и запомнить каждое слово.

Когда оратор вычитал все из той бумаги, которую держал в руках, он стал говорить дальше по памяти, браня и укоряя людей, что они сами повинны в этой неправде, потому что, вместо того чтобы объединиться и помогать самим себе, они помогают панам чинить неправду. Очень долго говорил об этом оратор и очень бранил темный народ, пособляющий обидчикам.

Собравшиеся время от времени кричали то «славно», то «правда». А Семен, как только услышал это, засунул руки в рукава, прижав их плотно друг к другу, точно зимой в мороз, и кричал вместе с другими, а если какое-либо слово ему особенно нравилось, он произносил: «Дай вам боже здоровья за это слово!»

Заканчивая речь, оратор спросил, согласны ли собравшиеся,— а с чем именно, Семен не мог понять, но подумал: «Хоть на виселицу — и то пойду!» И когда собравшиеся подняли руки, Семен встал на цыпочки, тоже поднял правую руку и, придерживая левой сползавший с плеч кожух, закричал так, что даже закашлялся: «Согласны, согласны все!»

Потом выступили двое односельчан, но Семен не слушал и не понимал их. Он в это время обдумывал то, о чем говорил сторонний человек. И ему все казалось, что надо бы этому человеку поцеловать руку.

Когда после собрания все вышли из риги, Семен стал забегать со всех сторон и протискиваться сквозь толпу, с целью увидеть того человека. Он, человек этот, стоял среди маленькой кучки людей и что-то говорил. Семен его увидел, но не нашел в себе мужества подойти и, кроме того, ему стало стыдно, что он ни с того ни с сего хотел при всех поцеловать этому человеку руку.

Люди постепенно расходились, осталось лишь немногим более десяти «читальников» и еще двое пришлых. Хотя среди оставшихся был и Юрко, Семен все же не стеснялся от них. Он продолжал разглядывать того человека и убедился, что он действительно постарше другого, но не так румян, как ему показалось в риге. Зато взгляд его оказался еще более быстрым.

«Читальникам» хотелось угостить этих людей, они давали каждый по шистке на пиво. Семен тоже не утерпел. Он покопался у себя в кошельке, насчитал медяками шистку и, как бы крадучись, подошел к Паньку:

— Возьмите и у меня,— вымолвил он и испугался: «А ну, как не возьмет?» Но Панько взял.

Когда Юрко принес пиво, вынесли из риги в сад стол и скамьи. Грицько вынес из хаты буханку хлеба и разрезал на куски, а заведующий читальней пригласил сторонних людей к столу.

Пили пиво из двух стаканов. Каждый делал только один глоток, доливал стакан, наполнял его и передавал соседу. Разговор шел не общий, всяк говорил со своим соседом, и почти все просили пришлых людей пить и закусывать. Семен видел, что все кругом веселы и откровенны друг с другом, и в нем пробудилось что-то похожее на зависть.

Заведующий читальней, который тоже сидел на скамье, поднялся и, когда разговоры чуть стихли, поблагодарил гостей за то, что они «были любезны заглянуть к ним, в глухой угол, и своим искренним словом придать людям смелости для работы на пользу народного дела».

Затем, в свою очередь, поднялся тот человек, поблагодарил и говорил еще что-то, но Семен не слышал его. Ему захотелось сказать и свое слово, но только лишь он подумал об этом, как у него так зашумело в ушах, будто над самой его головой пролетали дикие гуси. Все же он решился:

— Кой-что и я б сказал, да не знаю, будет ли мое слово принято?

— Просим! — отвечали все хором.

Семен взглянул на окружающих его людей, и все эти знакомые лица показались ему какими-то странными, внушающими страх. Тем не менее он продолжал:

— Я хочу сказать, что я до этой поры плутал по лесам и дебрям, пока вот этот человек не вывел меня на ровное, дай вам боже здоровья, не знаю, как вас звать...

— Меня — Иваном, — ответил тот человек, — но вы называйте меня товарищем, потому что мы все товарищи.

— И за это слово чтоб вам долго прожить! — сказал Семен, подошел к столу и, схватив Ивана за руку, наклонился ее поцеловать.

Но Иван вырвал руку и вместо нее подставил Семену губы и расцеловался с ним.

— Когда этот товарищ говорили, — сказал Семен, слегка покраснев оттого, что наклонялся, — я обдумывал их слова и очень дивился, откуда они так хорошо про меня все знают. Потому как они все время про меня говорили. Все чисто рассказали и про меня, и про мою жену, и еще про мой суд с Юрком.

По лицам «читальников» проползла едва заметная улыбка, как поздней осенью проползает по белой стене бледный луч солнца. Заведующий читальней, слегка сконфуженный тем, что чужие люди могут подумать, будто здесь все «читальники» такие, перебил Семена:

— Хватит об этом!

Семен заметил и улыбку, и сконфуженность, и это вызвало у него робость, но вместе с тем и безумную отвагу.

— Простите меня, — попросил он, — господа хозяева, братья наши милейшие и еще товарищи! Пускай я и плохое слово скажу — все равно простите меня. Но дозвоьте мне уж высказать дочиста все, что у меня на сердце горит. Потому раз мое слово было принято — так пусть уж будет принято! — добавил он, точно угрожая тем страшным людям, которых боялся. — Пускай все знают, что это я — тот темный народ, — продолжал он, вдруг отступив от стола, словно для того, чтобы все видели, каков он. — Я тот самый темный народ, который сам себе обиду чинит. Это я — тот несчастный народ, который, вместо того чтобы спасти себя, сам к своему горлу нож приставляет. Это я — такой народ, что сам себе гибель готовит. Или, как они верно про мой процесс говорили, — при этих словах он повернулся лицом к Юрку, — наш народ (так этот товарищ говорили) не должен смотреть на то, что нам паны говорят, потому как это измена. У панов свой закон, а мы должны держаться своего. Так оно и есть. Как рассудили нас паны? Заплатил я, заплатил и Юрко. Приехали паны, осрамили меня и осрамили Юрка. Паны уехали, а я остался ни с чем, да и Юрко ни с чем. А теперь я вижу, что мы своего закона должны держаться. Кабы я к Юрку хорошо относился, так его бы не

тянуло мою межу перепахивать. А кабы я знал, что он со мной хорош, так я не поверил бы, что он мою межу перепахивает. Кум Юрко, пускай же не будет между нами вражды!

Юрко подошел к нему ближе, протянул правую руку, согнул пальцы и вложил их в согнутые пальцы правой руки Семена. Соединенные таким образом руки они слегка приподняли, и Семен поцеловал руку Юрку, а Юрко—Семену.

— Да я,— пробормотал Юрко,— ей-богу, вашего не запахивал.

— Не божись, кум Юрко,— продолжал Семен,— я и сам вижу, какой я народ паскудный. Но вы не считайте меня плохим, потому как я такую думку имел, что, коль присудит мне комиссия ту борозду, лягу я, разопнусь крестом на земле и буду ползти вдоль своей межи, как гадюка, чтобы запомнить, докуда мое. Так я думал, но это все — неправда, все это ложь. Мы не должны говорить один другому: вот посюда мое, а должны все дружно взяться за руки и сказать: вот посюда наше!

— Правда! — подтвердили все хором.

Это подтверждение обрадовало Семена. И когда теперь он поглядел на знакомые лица, то убедился, что ему их нечего бояться, так как все они смотрят на него дружески. И ему даже показалось, что он может тут пожаловаться и эти люди смогут дать ему утешение.

— То, что этот товарищ говорили, это я все и сам видел, только не понимал, потому как плутал по лесам и не мог выйти на ровное. Но только я такой народ, для которого уж нету спасения. Потому как это я тот темный народ, в чьей хате нету житья, где не услышишь доброго слова, а одни только ссоры да проклятья.

При этих словах от его сердца поднялся и пополз к горлу какой-то теплый клубок. Тепло, исходившее от этого клубка, застлало Семену глаза, а он все стоял, сжимая кулаки и моргая.

— Братья,— сказал он,— самые наши милые!..— Клубок начал разматываться, толстые живые водяные нитки искали выхода из горла и не давали выйти наружу словам. Они лились из глаз Семена по его лицу на подстриженные усы, запутывались в волосах и падали струей на землю. Клубок все разматывался, все уменьшался,— и в горле и на сердце у Семена становилось легче и легче с каждой минутой.

ДУРНОЕ ДЕЛО

Судья Кривдунский, ласково обратившись во время разбирательства дела к Олене, бросил украдкой испуганный взгляд на адвоката, а затем на своего писаря — не поставили ли они ему в вину эту ласковость, не смеются ли над ним? Кривдунский, вопреки всем предписаниям и законам, почитал нормальным такое отношение судьи к мужичке, когда он на нее накричит, наорет и прикажет выбросить за дверь.

Но худенькое, белое, словно из мрамора выточенное лицо Олены настолько привлекло его внимание, что это помешало ему заметить на ней крестьянскую одежду. На этом лице не было ни морщинки, и все же на нем лежала печать страдания — словно белое облачко на ясном месяце.

— Кто вы такая? — ласково задал ей вопрос судья и именно в эту-то минуту испуганно глянул на писаря и адвоката.

Олена указала движением руки на мужика, дело которого, собственно, и разбиралось.

— Я жена Семена, — ответила она так тихо, что, казалось, это не Олена говорит, а какая-то мушка звенит у самого уха.

Судья высоко поднял брови, точно удивившись, что такое создание может быть замужем.

Олена же тем временем продолжала:

— Прошу милости у светлого суда, мы вернем деньги, что взял муж, потому как никакой продажи не было. Как же вы могли купить эту землю, Петро? Побойтесь вы бога!

При этих словах Олена обернулась к низенькому, слащавого вида мужичонке в порванном под мышкой тулупчике. Из-под мышки торчали три вихра черной шерсти, словно толстые топорщившиеся усы.

— При свидетелях купил,— ответил Петро и отвернулся.

Олена подошла к Петру ближе на несколько шагов и стала прямо перед ним.

— Это все тайком сделано,— прозвенела она, подтверждая каждое слово кивком головы.— А кто же обрабатывал эту проданную землю, скажите мне, Петруня? Знала ли я об этом? Вы мне хоть словечко сказали? За чем вы ему сунули деньги так, что я не видала?

На лице Петра проступили пятна, багровые, как разрезанная свекла. Он отступил от Олены на несколько шагов и быстро заговорил, обращаясь к судье:

— Ей-богу, она знала, она все знала!

Олена опять подошла к нему поближе.

— Ой, не говорите неправды, грех! Да вы ж его потащили из хаты на крестины. А слыханное ли дело — на крестинах землю продавать?

Петро покраснел и начал бить себя кулаком в грудь.

— Это все не так, ей-богу, не так! Я сейчас присягу дам!

— Дайте присягу, дайте, Петруня! — приговаривала Олена.

— Вот же, ей-богу, присягну!

Толстенский адвокат хитро улыбнулся. Чтобы избавить своего клиента от дальнейших хлопот, он приподнялся, оперся о стол толстыми руками и вытянул короткую шею.

— Она здесь ни при чем,— сказал он судье, словно упрекая, что тот без нужды разрешил Олене говорить.— Земля числится недвижимостью Семена; ей здесь не о чем разговаривать.

Олена подбежала к адвокату, затем обратно к судье, а потом — к Петру.

— У нас с ним дети,— сказала она жалобно,— четверо малых детей. Что им отец и мать, коли они останутся без земли? Не по правде будет, прошу милости у светлого суда. Где ваша совесть, Петро, чтоб тайком от меня отбирать у моих детей землю?

Судья видел, что, обладая Олена большей физической силой, она стала бы виновницей скандала. А помимо этого, он еще ощущал на себе укоризненный взгляд адвоката за то, что без всяких оснований разрешил ей говорить. Поэтому он сдвинул брови и крикнул:

— Тихо, тетка, не то сейчас же арестую!

Олена поспешно отбежала в угол, испуганно поглядывая оттуда то на судью, то на адвоката. Адвокат посмотрел на Петра веселым взором и подмигнул ему, словно говоря: «Разумей, человек, какого имеешь защитника: сказал одно слово — и все получилось отлично».

Но Петро по-прежнему краснел. Он чувствовал себя побежденным и посрамленным. Он сознавал всю мерзость своего поступка, идущего вразрез с крестьянским обычаем, так как купил землю, не подлежащую продаже, из надела маленьких детей, тайком от их матери. Ему казалось, что все значение этого дела заключается в том, чтоб доказать, что он не тайком покупал землю. Он не имел мужества оправдываться перед судьей, так как не знал, поверит ли ему судья после сказанного Оленой в свою защиту. Но перед адвокатом он не робел, так как заплатил за то, чтоб тот ему верил.

— Это не сразу случилось,— говорил он адвокату.— Целых два года мы оба с ним об этом толковали. Или не правда, Семен?

Семен заволновался. До этой минуты он все время стоял понурясь и не проронив ни слова.

— Это, Петро, все же на крестинах случилось,— ответил он несмело и неохотно, как ребенок, которого побили и заставляют сказать, что он больше не будет плохо себя вести.

Петро широко развел руками, будто хотел обнять что-то очень толстое.

— Как так? — удивился он.— Вы ж мне не раз говорили, что продали бы землю, кабы случился хороший покупатель.

— Но я не говорил, что имею землю для продажи, что у меня есть продажная земля,— произнес Семен по-прежнему робко и неохотно.

Он чувствовал себя виноватым перед женой и детьми.

— Вот тебе и раз! — сказал Петро и заскреб в затылке.

— Какой вы, однако, странный,— произнес адвокат, скривив правую щеку и прищулив правый глаз, давая этим понять, что он думает: «дурак», а не «странный». — Ведь это совершенно все равно — на крестинах ли, на похоронах или на свадьбе! Сладились, дали задаток, а теперь либо доплачивайте — и пусть он вам землю от-

дает, а нет — пускай он возвратит задаток в двойном размере.

Но эта речь ничуть не успокоила Петра. Он мялся, краснел, переминаясь с ноги на ногу.

— Это, ей-богу, не было украдкой, — божился он, умоляя взглядом адвоката и судью, чтобы те ему поверили или чтобы хоть сказали, что верят.

Судья потерял терпение. Он с грохотом отодвинулся на своем кресле и ударил кулаком по книге.

— Зря теряем время! Уступаешь ему землю? — заорал он на Семена.

— Не по правде будет, пан судья!

— Возвращай задаток в двойном размере. Когда отдашь ему сто ринских?

— Не по правде будет, пан судья.

— А ты желаешь получить задаток в двойном размере? — обратился судья к Петру.

— Что мне деньги! — ответил Петро и отвернулся от Семена, словно не имел мужества посмотреть ему прямо в глаза. — Это не было украдкой. Побей меня сила божья! На людях...

Олена не дала ему договорить. Она подбежала и опять стала перед ним.

— Берите, берите, Петруня, землю из надела четырех малых деточек! — грозила она ему пальцем и утирала глаза рукавом.

Петро отвернулся, ища взором помощи у судьи.

— Я полагаюсь на милостивый суд, — произнес он твердо и словно сердито.

— Получай задаток в двойном размере! — в свою очередь, сердито сказал судья.

Олена опять стала против Петра, опять утирала глаза и грозила пальцем:

— Ох, не согреться вы сиротской обидой!

Петро взглядом молил судью о спасении.

— Марш, баба, за двери! — заорал судья. — Я ей же хочу добра, а она мешает!

Олена быстрехонько отбежала к дверям, вышла в сени, притворила за собой двери и приложилась к ним ухом. Прислушивалась с таким напряженным вниманием, что, казалось, услыхала бы даже, как трава растет. Однако ничего, кроме шума, расслышать не могла. То ли от неудобной позы, то ли, может быть, от нетерпеливого ожидания дрожала всем телом, как на морозе. Несколь-

ко раз пыталась притронуться к щеколде, но щеколда звякала при каждом прикосновении ее дрожащей руки, и Олена отдергивала всякий раз руку, точно обжигаясь.

Как вдруг двери распахнулись — и Олена так бы и влетела на самую середину судебной комнаты, не ухватись она крепко правой рукой за дверной косяк. Первым торопливой походкой вышел Петро, а вслед за ним нехотя плелся Семен. Олена боязливо посмотрела на него, а он опустил под ее взглядом глаза и начал рассматривать широкие носки своих сапог.

— Надо воротить двойной задаток, — вымолвил он с такой неохотой, будто каждое слово продиралось с трудом сквозь его горло, царапая его, точно ячменный колос.

Олена подняла кверху ладони, прижимая их то к ушам, то ко лбу.

— Ой-ой! Продал совесть! — негромко сказала она, потом произнесла эти слова шепотом и наконец стала только беззвучно шевелить губами.

Петро остановился поодаль, но не долго мог устоять на месте. Он подошел к ним и, сплетя пальцы на уровне груди, с силой опустил их вниз.

— Добрая женщина, каким же это я манером продал совесть? — сказал он твердо, но на лице его опять выступили красные пятна.

Все же он смело смотрел прямо в глаза Олене. Она опять зазвенела, как мушка, и почти каждое свое слово подтверждала кивком головы.

— Вот вы его, бывало, возьмете на крестины, а он там напьется, придет домой и драться начинает. А как же, драться начинает! — повторила она, словно бы Петро ей не верил, хоть он и слова не сказал.

— Когда я в тягостях была, а он пьяный пришел, — так он меня и за волосы таскал, а потом еще и кулаками бил. Кровь из меня ручьем лилась. Да как же можно в такую пору жену бить?!

Семен взглянул на нее, поскреб в затылке и улыбнулся какой-то озабоченной улыбкой. Потом опять опустил глаза.

— А я в чем перед вами виноват? — спросил Петро.

— Я о нем ничего не говорю, — продолжала Олена. — Он добрый человек. Когда тверезый — и послушается,

и сделает все. Да характер плохой, характер плохой,—повторяла она все тише и тише.— А у нас четверо детей,—произнесла она громче и погрозила пальцем.— Все люди дивятся; откуда у таких поганных людей такие хорошие дети?

Губы ее дрожали, в глазах появились красные прожилки, она оглядывала мужа, словно старалась отыскать в нем следы той красоты, которая перешла к ее детям.

Затем отвернулась от мужа, посмотрела Петру прямо в глаза и заломила руки.

— А зачем же вы украдкой, тайком от меня землицу покупали? А теперь еще и последнюю коровенку продавать на двойной задаток?!

— Да погодите, постойте-ка! — замялся Петро и вытянул левую руку в сторону Олены.— Что ж тут было украдкой? — сказал он ей, но, увидев, что ее не переубедишь, обратился к Семену. — Какое же тут было тайное дело?

Семен поднял голову, но не смотрел ни на Олену, ни на Петра.

— Она и впрямь о том ничего не знала,— произнес он с неохотой и отвел глаза в сторону, так как встретился взглядом с Оленой.

Петро пожал плечами, а потом хлопнул себя обеими руками по бедрам.

— А, пускай вам господь бог оплатит за мой обман! Воротите мне мои деньги, и я стану обходить вас за десять улиц! — сказал он торопливо, нажимая на каждое слово.— Идите назад в суд, пусть там запишут,— добавил он сердито.

Когда они снова вошли в помещение суда, судья высоко поднял брови и широко раскрыл глаза, удивляясь, что в первый раз среди бесконечного множества серого мужичья встретились ему чьи-то знакомые лица. Он только никак не мог припомнить, где он их прежде видел?

— Ах, да это же те, дело которых, собственно, кончилось,— сказал судье адвокат, догадываясь о причине его беспокойства.

Брови Кривдунского опустились на место, и губы его растянулись в улыбку. Ему понравилась пришедшая в голову мысль, что мужиков нельзя различать по их физиономиям, как всех прочих людей.

— Что вы еще скажете? — спросил он, и не сошедшая с его губ улыбка как бы придавала его голосу некоторую ласковость.

— Мы, прошу милости у пана, уже договорились, — коротко ответил Петро.

— Как так? — удивился судья. — Вторично?

Петру показалось, что этим своим вторым соглашением он причиняет панам неприятность. Поэтому он низко поклонился и несмело добавил:

— Да, да. Я больше не хочу двойного задатка. Семен отдает мне мои деньги.

При этих словах он взглянул на Семена и на Олену, словно говоря им: «Пособите мне, ведь и вы к этому причастны».

Олена поняла его взгляд. Она быстрехонько подошла к столу и, кивая головой, словно кланяясь, проговорила:

— Мы, прошу милости у светлого суда, с Петром соседи. Нам ни к чему ссориться, мы в ладу живем.

Адвокат побагровел и стал судорожно комкать в руках какую-то бумагу.

— Ты спятил, человек! — закричал он на Петра. — У тебя судебное постановление, какого же черта еще тебе надо?

На лице Петра опять проступили красные пятна, он вспомнил, что обещал приплатить адвокату, если ему достанется земля или же если он получит задаток в двойном размере. Петро чувствовал себя теперь вдвойне виноватым. Во-первых, в том, что, наперекор крестьянским обычаям, покупал не подлежащую продаже землю, а во-вторых, в том, что не кончил затеянного вместе с паном нечистого дела. Потому что, по его мнению, паны только для того и существуют, чтобы наносить вред людям; и коль уж толкнет тебя нечистый на дурное дело и пан при этом тебе помощник, — так надо уж и дальше, до конца лезть в болото. Поэтому Петро ничего не отвечал, а только потел да краснел.

Судья был сконфужен, так как ему показалось, что хотя мужики столько времени морочили ему голову, а дела он все же так и не понял. Он подумал-подумал и пришел к выводу, что, вероятно, купли-то никакой не было, а Семен либо пьяница, либо дурак, — и Петро обманул его. Чтоб исправить свою ошибку, судья окинул всех грозным взглядом (это должно было внушать почтение) и сказал Олене:

— Ступай с мужем в управу, пусть ему опекуна назначат, так как он расточитель. Или же пусть он переписет землю на твое имя, не то его еще не один обманет.

Все трое низко поклонились.

Выйдя за двери, они опять постояли в сенях.

— Что ж теперь делать? — спросил уныло Семен.

Петро сиял от радости. Он с трудом сдерживал улыбку.

— А я вам скажу, — произнес он шепотом и поднес палец к глазу, словно выдавая какую-то большую тайну. — Не ходите туда, где назначают опекуна, потому как там бесплатно. А паны бесплатно ничего не делают. Вы пойдите к нотариусу и перепишите землю на жену. Заплатите порядочно, зато он вам сделает все как следует.

— По мне... — согласился Семен.

Петро уже больше не мог сдержаться и рассмеялся. Радовался тому, что избежал дурного дела.

— Еще вы, Семениха, — сказал он, чтоб как-нибудь объяснить свой смех, — еще вы будете тайком от мужа землю продавать.

Олена глянула на Петра. Но, увидев его сияющее радостью лицо, улыбнулась и сама. Но эта улыбка, по сравнению с искренним смехом Петра, была словно вспышка далекой зарницы на горизонте темной ночью по сравнению с сиянием ясного солнца.

ВОЙТ

I

В двух дворах, находившихся по соседству с волостной канцелярией, перепугались: в одном — теленок, а в другом — собака. Теленок замычал, прыгнул прямо на плетень да так бы и напоролся на кол, если бы Аничка не выбежала из хаты и не погнала его на огород. А собака лаяла и рвалась на своей цепи так, словно увидала лунной ночью самого черта.

Страх этот нагнал на животных войт Степан, заговорив в канцелярии своим невероятно густым и зычным голосом с выборными. Когда войт заговорил, двери задрожали, а стекла зазвенели, точно в бурю. У самого войта заболели уши.

— Я больше не выдержу такой беды, — гудел Степан. — Опять меня оштрафовали на двадцать левов. Просил я у вас, паны выборные, помочь мне скинуть с себя это чертово (извините на слове) войтство, да не мог у вас того допроситься. А теперь опять собирайте складчину, на этот штраф.

Выборные поглядели друг на друга, втайне надеясь, что кто-нибудь скажет: «Не наш грех, не нам и каяться». Поглядел и войт на них и сразу же угадал их мысли.

— Вот оно как! — сказал он. — Теперь вы меня и знать не хотите, а как трудно приходится — выталкиваете меня везде наперед? За то, что завели мы читальню, — штраф на меня; за то, что устроили вечер в читальне, — штраф на меня; за то, что созвали сходку, — штраф на меня; а теперь за то, что порешили писать в учреждения по-украински, — штраф опять на меня.

Войт произносил все это как хорошо заученную речь. Выборные опустили головы, чувствуя правоту его слов, но никто не решался выразить свое согласие с тем, что надо заплатить за войта, боясь нареканий со стороны остальных: «Смотрите, кум, из-за вас у нас одни только расходы».

— А вы о том и думать оставьте,— загудел войт, удостоверясь, что его речь убедила всех.— Вот подходят выборы, и коли вы не выберете меня выборщиком,— уездный начальник на вас наложит штраф, а коли выберете — опять-таки будет на вас штраф — за то, что я не голосую так, как хочется уездному старосте. Или мне заодно со свиньями ¹ за пана голосовать?!

Присутствующие приуныли, сознавая, что Степан прав, но не видели никакого выхода из этого положения.

— Да уж мы видим, что беда,— решилсЯ заметить один из выборных,— но только скажите нам, кум Степан, кто б тут нам совет мог дать?

— Разве что гадалка,— заметил кто-то из молодых.

— Насчет совета я вам ничего не скажу,— ответил войт,— потому как я уж советовался везде где мог, и никто мне совета не дал. Ходил я по адвокатам, ходил по комитетам; писал во Львов, писал в Вену,— а староста, как штрафовал меня, так и посейчас штрафует. Был я уж и у самого наместника во Львове и жаловался: за то-то и то-то меня уездный начальник штрафует. А наместник мне говорит: «Это неверно, потому как за это не разрешается штрафовать!» Вот и советуйтесь теперь с кем хотите. Только одно я могу сказать, что грех и вам. Почему я один за всех должен оплеухи получать? Вот и вы, кум Петро, да и вы, кум Василь,— вы еще покрепче хозяева, чем я. Походите-ка и вы маленько в войтах! Пускай у нас будет каждый год — по очереди — другой войт, а то все на одного — очень уж это накладно!

После этих слов каждый стал говорить свое, однако все сошлись на том, что и впрямь беда и что мужику трудно тягаться с панами.

Совещание закончилось бы тем, что войту позволили бы присоединиться к «свиньям», так как галицийские политические заправилы таким путем сломили уже не одно сельское правление. Но из этой трясины вытащил их, пусть и на короткий срок, Иван Хворостюк. Это был самый старый из выборных, человек весьма изворотливый и острого ума.

— А мой совет такой,— говорил Иван Хворостюк своим хриловатым тихим голосом. Ежели уж каждому войту положено быть штрафованным, надо сделать так, чтоб ему тот штраф был не во вред. Я не к тому клоню,

¹ То есть с австрийскими и польскими помещиками и кулаками.

чтоб мы за него платили,— добавил Хворостюк, заметив, что его плохо поняли,— я к тому только веду, что хоть пускай войта и штрафуют, да чтоб никто того штрафа не платил,— а чтоб штраф все-таки был уплачен.

Все заинтересовались и, прекратив между собой разговоры, стали внимательно слушать речь Хворостюка. А Хворостюк откашлялся и продолжал:

— Вы меня спросите, почему войт боится штрафа, а я вам скажу: потому как ему есть из чего платить, есть откуда с него взять. А кабы у войта ничего не было, так он бы никакого штрафа не боялся. Правду я говорю или нет? — спросил Хворостюк у собрания.

— Правду! — ответили все хором.

— Вот так же и тут,— продолжал Хворостюк.— Коли мы выберем такого войта, у которсго ничего нет, так он никакого штрафа бояться не будет. А кто меж нас такой, у кого ничего нет?

Присутствующие поглядели друг на друга и убедились в том, что такого среди них нет. Они сказали об этом Хворостюку.

— Я и сам вижу,— продолжал Хворостюк,— что с каждого тут можно взять штраф. Но к тому-то и мой совет. Вы меня спросите, какой, а я вам скажу...— Иван Хворостюк поднял кверху кулак и, нажимая на каждое слово, неторопливо произнес: — Откажемся, паны хозяева, все, сколько нас тут ни есть, от звания и выберем новое правление. А в него выберем нашего общественного пастуха Петра Коваленко. А после того выберем Петра Коваленко войтом. Вот таков мой совет! — закончил Иван Хворостюк и опустил кулак.

Как ни странен и не смешон показался сначала этот совет, однако после долгого обсуждения все сошлись на том, что Хворостюка следует послушаться.

II

Когда уездный начальник узнал о том, что сельское правление в полном составе отказалось от своих полномочий, он не только ничего против этого не имел, но даже обрадовался. Это правление было самым упрямым во всем уезде и ни при каких выборах не шло ему, начальнику, навстречу. Кроме того, он опасался, что и на предстоящих выборах в парламент панский кандидат прова-

лится. Поэтому у него возникла надежда, что при новом составе и новом воите ему удастся достигнуть избрания таких выборщиков, какие ему были желательны.

Вот уездный начальник и поторопился назначить перевыборы правления на самый близкий срок,— такой близкий, что избиратели боялись, что не успеют выбрать Петра Коваленко.

Дело в том, что Петро Коваленко решительно никакого имущества не имел и никаких налогов не платил. Жил он на общинном выгоне, в соломенном шалаше. Для того, чтобы он получил право быть избранным в правление, воит послал уездному начальнику сведения, что Коваленко построил на общинной земле новую хату и обязан платить налог. Однако могло случиться так, что до той поры, пока Коваленко начислят налог, перевыборы правления уже состоятся. Но на этот раз факт преследования правления обернулся ему на пользу. Так как это село всегда голосовало против панского кандидата, его ненавидело все уездное начальство. Податное управление мстило ему при любом удобном случае, стараясь разорить каждого крестьянина в этом селе противозаконными налогами. И на этот раз польские чиновники австрийского учреждения, привыкшие топтать ногами любой закон, также не позабыли о своем долге всячески преследовать это честное село. В самом непродолжительном времени податное управление начислило на Петра Коваленко самый высокий домовый налог.

А с самим Петром Коваленко вот как обстояло дело. В леске близ пруда, что возле общественного выгона, всю ночь со среды на четверг заливался соловей. Только перед самой зарей вздремнулось ему, но он был абсолютно уверен, что первым возвестит наступление дня. Поэтому, повернувшись на своей веточке хвостиком к востоку, он сомкнул глаза и спрятал головку под крылышко.

Словом, проспал!

Проснулась кукушка, смотрит: уже светает. Она своим глазам не поверила. «Неужели соловей сегодня проспал? — подумала она.— Этого не может быть!»

Однако и впрямь: зори играют на голубом небе, тихий ветерок повеваает, деревья потряхивают покрытыми росой листочками: наступает ясный божий денек!

Помахала слегка крыльями кукушка, раскрыла клювик и — «кук»,—не dokonчила она своей песенки. А мысль

при этом у нее такая была, что в случае чего (если еще не день) она скажет: «Это я так... только зевнула!»

От этого кукушкиного «кук!» проснулся соловей, да так и окаменел на своей ветке: такого еще с ним не бывало, чтоб кукушка опережала его! Он вскочил как ошпаренный, повернулся головкой к востоку и залился не своим голосом, будто хотел своим щелканьем изгнать у всех из памяти, что кукушка раньше подала голос.

Застыдилась кукушка, что упустила такой удобный случай одержать верх над соловьем, да так и не докончив своей песенки, начала ее заново.

Но без всяких к тому оснований повздорили соловей с кукушкой: не они возвестили наступление дня, а совсем иная птаха. Птахой этой был Петро Коваленко.

Он уже с полчаса кричал на маток и яловок, сгоняя их на выгон. Скакал босиком за непослушными телятами через рвы, зацепляясь за кусты заброшенной на плечи дерюгой, заменявшей ему свитку. Перескакивая через рвы, он придерживал правой рукой торбу, потому что в ней лежало полковриги, три головки чеснока, пять яблок и немножко творогу в капустном листе.

Пригнав скотину на выгон, он осмотрел шалаш и заткнул соломой дыры, чтоб не протекало. Затем уселся, поджал под себя ноги, положил торбу на порог и, вынув еду, снял шапку, перекрестился и начал завтракать.

Не успело солнце подняться, а Петро Коваленко съест четвертушку хлеба и полторы головки чеснока, как вдруг идут прямо на него два присяжных. Один несет новую свитку, а второй — сапоги.

Подошли.

— Слава богу!

— Слава навеки!

— А ну-ка, Петро, обувай сапоги и надевай свитку. Хватит тебе все на выгоне за скотиной смотреть, побудь малость в селе, войтовать будешь,— говорит ему один из присяжных.

У Петра рука с хлебом так и застыла в воздухе. Он разинул рот, вытаращил глаза и молчал.

Присяжные наперебой объясняли ему; то, что начал один, заканчивал другой; но тем не менее Петро решительно ничего не мог взять в толк. Пришлось присяжным на будущего войта хорошенько накричать:

— Одевайся, такой-растакой сын, а то как огрею тебя дубиной, так шкура треснет!

Петро сложил руки на груди и произнес трясущимися губами:

— Люди добрые, смилуйтесь! За что на меня такая напасть? Чем я провинился?

Присяжные не обратили на это внимания. Петро вынужден был обуться и одеться.

Один из присяжных остался при скотине, а другой погнал Петра впереди себя.

За всю свою жизнь Петро ни разу еще не испытал такого страха, как в тот день.

III

И выбрали Петра Коваленко войтом; а он все еще не понимал, что с ним происходит. Только тогда, когда дали ему в руки печать, в голове его слегка прояснилось.

Прежний войт, Степан, держал к нему речь. Он не говорил, а прямо бил Петра своими громовыми словами:

— Смотри! Понимай, Петро! Ты знаешь, кто ты теперь?

Петро опустил глаза.

— Ты теперь самый главный в селе,— гремел Степан.— Как ты скажешь — так и быть должно, и все тебя обязаны слушаться. А никакого наказания ты не бойся, потому как на то ты и войт в нашем селе, чтоб тебя наказывали. А как тебя накажут? Прикажут деньги уплатить. А откуда ты их возьмешь? Свитки у тебя не отнимут, потому не твоя,— она наша, общественная. Когда свое отвойтуешь, ты обязан принести сюда, в канцелярию, свитку и сапоги и вернуть их назад обществу.

Иван Хворостюк тоже держал к Петру речь.

— А за общество стой! — говорил Иван кашляющим голосом.— Пускай тебя теперь ничто другое не беспокоит, ты только об обществе заботься! Печати никому не давай и никогда не соглашайся на такое дело, которое обществу вредит. А при выборах голосуй всегда за нашего мужицкого кандидата. Не изменяй обществу, хоть бы тебя и на огне жарили.

— Потому, коли изменишь, не для чего тебе и в селе показываться — убьют! — внес поправку один из самых молодых выборных.

Петро Коваленко отвечал на эти речи так:

— Я, паны хозяева, свою должность понимаю. Я буду служить обществу. Когда я был пастухом, так глаз не

спускал с хозяйской скотины — пускай каждый сам скажет. Я скотинку, бывало, жалел, ровно свое собственное дитя, не грех и побожиться. А теперь я сам про себя так рассуждаю, люди: отрубите мне голову на пороге, как гадине ползучей, коли я обществу изменю.

Так Петро Коваленко сделался войтом, покинул свой шалаш и переселился на жительство в холодную.

IV

Каким Петро Коваленко был войтом? Видели вы когда-нибудь маленького кота, который каждой собаки боится? Однако если собака загонит такого маленького кота в самый угол, так что коту деваться некуда, — он и глаза собаке выцарапает.

Вот так же и Петр Коваленко.

Он всех боялся. Боялся любого мужика, любой бабы и чуть ли не любого ребенка в селе. О жандармах и господах и говорить нечего: их всякий боится, а не только Петро Коваленко. Но зато Петро Коваленко дошел до той мысли, что он для того и состоит в войтах, чтоб на него всякие городские бездельники нападали, а он чтоб защищался от них.

Из-за этой вечной распри с господами в городе Петро Коваленко пришел в такое неистовство, что если даже иной жандарм или чиновник и хотел бы, может быть, к нему с добрым словом подойти — он никому из них не верил и, насколько было в его силах, поступал наперекор им.

Не раз случалось, что явится жандарм в село и ждет от Коваленко, чтоб тот поставил печать в знак выполненного жандармом поручения.

Коваленко, однако, печати не ставил. Жандарм удивлялся.

— Почему вы не ставите печати? — говорил он. — Если не верите, так прочитайте сами и увидите, что тут нет никакого подвоха.

— Э! Кабы я читать умел, — отвечал Коваленко, — не я бы панов боялся, а паны меня.

Ничего нельзя было поделывать с Коваленко. На него сыпались штраф за штрафом, а он только усмехался и приговаривал:

— Шалаша моего не развалите, свитки у меня не отберете, а ареста я не боюсь, потому как все равно живу в холодной.

В скором времени подошли выборы депутата.

Уездный староста приказал, чтобы каждый войт был и выборщиком, но Коваленко не надо было и приказывать, так как правление давно уже постановило послать его выборщиком.

Стал Петро Коваленко выборщиком, дали ему избирательную карточку, внесли в карточку имя украинского, мужицкого, кандидата. Когда Коваленко уходил в город, ему наказывали:



— Вы смотрите-ка, войт, чтоб паны у вас карточки не украли или чтоб не вписали панского депутата.

Петру Коваленко не надо было дважды наказывать. Пошел он к панам в таком неуступчивом настроении, что коли штраф — так штраф, коли тюрьма — так тюрьма, а от своего он не отступится!

При избирательной комиссии находились уездный начальник, и староста, и чиновники, и жандармы, и, кроме того, еще паны из уездного управления. Они пытались отобрать у Коваленко карточку для голосования, совали ему в руки другую, кто-то его даже огрел по спине, но Коваленко не поддался. Не соблазнился он и деньгами.

Когда наступила его очередь голосовать, Коваленко вынул сложенную пополам карточку, раскрыл ее и ткнул под нос самому уездному начальнику:

— Смотрите, пан староста, я голосую за украинского кандидата.

Староста растерялся.

— Нельзя показывать,— сказал он.— Ведь это тайное голосование.

— Мне не в чем таиться,— отрезал Коваленко.— А вы, пан, смотрите, чтоб голоса не украли, потому ежели штраф — так штраф, ежели тюрьма — так тюрьма, а я от своего не отступлюсь!

Хоть Коваленко тогда и вышвырнули за двери, но украинский депутат все-таки прошел.

После выборов уездный начальник дознался, каким манером Коваленко сделался войтом, и немедленно сместил его, но все же Петро Коваленко и за этот короткий срок послужил обществу.

Общество за его заслуги подарило ему свитку и сапоги.

Опять Коваленко стал пасти скот и уже позабыл даже о том, как войтом был, и только порой, когда очень уж рассердится на какого-нибудь теленка, кричит:

— Ты что это, глупый телок, меня не слушаешься? Да я же самому обществу служил! Я — бедный, неученый пастух, а крепко стоял за общество! А что, если бы я был грамотный и зажиточный хозяин? Я б тогда панов так прижал, что они удирали бы от меня, как телята с посевов!

СМЕРТЕЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ

I

На предварительные выборы¹ в село Тупивку явились только войт и семеро выборных, так как никто в селе не понимал даже, что это за выборы и к чему они.

Началось голосование. Чиновник выкликал избирателей по имени:

— Войт Иван Дышлюк, за кого голосуете?

— За себя,— ответил войт.

— Петро Пидошва, за кого?

— За себя,— ответил высокий и плечистый мужик.

— Семен Крук, за кого?

— За себя,— ответил приземистый человек в разлезшейся рубахе.

— Грицько Хаврий, за кого?

— За себя,— ответил седой старичок.

Этот — за себя, тот — за себя,— каждый за себя!..

— Вы что, с ума посходили? Что с вами? — закричал чиновник. Все молчали, сердито поглядывая друг на друга.— Ведь все вы не можете быть выборщиками, так как ваше село дает только одного,— убеждал их чиновник.— Выберите войта. Он был на всех выборах выборщиком и теперь тоже может им быть. Что вы имеете против него?

На это ответил из угла приземистый Семен Крук:

— Не желаем войта! Он уж досыта наелся тех десятков, что брал за голос. Пускай теперь и другого пустит, пускай и другой заработает.

¹ Выборы были двухстепенные: сначала выбирали выборщика, а он уж должен был голосовать за кандидата в парламент или сейм.

— Может, другой больше нуждается, чем войт,— добавил старенький.

— Очень я разжился с тех десятков? — спросил войт.

— Так Мошка же сказывал, что на этих выборах по пятьдесят за голос,— ответил Пидошва.

— Доведались сиятельные господа, что народ очень бедствует, и опять же пресветлая канцелярия желает народу помочь,— с благочестивым видом произнес старенький седой волостной и отвесил низкий поклон чиновнику.

Вероятно, так бы ничем и не кончились тупивкинские выборы, если бы Петро Пидошва не собрал трех голосов.

Он пообещал приземистому клинышек земли под отаву, а старенькому втихомолку посулил пятерку. Родственник Пидошвы, убедясь, что за Пидошву уже голосуют двое, в свою очередь согласился поддержать его. А чиновник нажал на войта, чтоб и тот проголосовал за Пидошву.

Таким образом выборщиком стал Петро Пидошва.

Перед своим уходом чиновник ему наказывал:

— Запомните, Пидошва, что перед голосованием вы обязаны зайти в уездную управу: там вам напишут, за кого голосовать, потому что имеются два кандидата.

Петро Пидошва скреб в затылке и намекал, что за двух кандидатов следовало бы повысить плату, но войт возразил ему.

— С паном чиновником торговаться нечего,— сказал он с видом человека, опытного в подобных делах,— это в уездной управе платят.

А старенький с благочестивым видом поучал Пидошву:

— Тут, понимаете, кум, такая уж будет господская милость и цесарский закон. Так оно полагается.

Однако через несколько дней по селу прошел слух, что за голос нельзя брать деньги, так как это измена. Об этом узнали тупивкинские жители в соседнем селе на сходке. Эта сходка им так понравилась, что они порешили созвать такую же и у себя в воскресенье.

Под сходку отвели ригу Гриця, сбили там из досок возвышение, а войт предоставил свой стол.

В воскресенье, к полудню, рига Гриця была битком набита. Пришла, почитай, вся Тупивка, явилось, кроме того, и несколько людей со стороны.

Больше всего понравилась речь одного чужого крестьянина, среднего роста, уже пожилого, но очень подвижного. Он был в коротком кафтане и лаптях.

— Братья,— говорил этот оратор,— мы сторонние люди, но мы пришли к вам не пить и не есть, а пришли мы для того, чтоб заодно с вами подумать над нашей нуждою.

Этимися словами он заставил людей внимательно себя слушать.

— Братья,— продолжал он,— хоть я не умею красно говорить, а расскажу вам одну как бы вроде сказку. Давайте представим себе, что у одного хозяина на конюшне стояли конь, вол и осел. Вот конь как-то и говорит ослу: «Видишь, какой я гладкий да статный,— как же мне таскать тяжести, коли мне подобает скакать с коляской? А ты, осел, говорит длинноухий, неповоротливый, тебе так уж на роду написано таскать тяжести. Вот, говорит, и таскай». Осел согласился. Только мало того, что он таскал на себе кладв за коня, а еще и за вола пришлось. А меж тем хозяин самыми худыми кормами кормил осла. И вот осел будто приходит раз к хозяину и говорит: «До коей поры, говорит, ты будешь меня морить работой и до коей поры ты меня такой гадостью кормить будешь?» А хозяин и говорит ему: «До самой смерти». А осел будто тогда опять к хозяину: «А после моей смерти, говорит, что будет?» — «А чему ж быть? — отвечает хозяин.— Вон у меня на конюшне твои ослята, тогда они, говорит, после твоей смерти будут работать так же, как и ты». Братья мои милые, скажем же сами себе теперь, не так ли точно и с украинским мужиком, как с тем ослом, что на всех работает и за это голодает да в придачу еще получает удары дубиной?

Эта притча заинтересовала людей, а оратор продолжал:

— Так вот и нам паны говорят, что им подобает лишь в хоромаш сидеть, а нашим черным рукам назначено цепом махать. Вот и сняли мы все тяготы с великих панов и с панской мелкоты. А панская мелкота — это городские панки, которых тоже не один жучок точит, но

они от трудной работы бегут и ищут что полегче. А за всю нашу тяжкую работу мы и куска хлеба не имеем.

Люди слушали и одобряли.

— Скажу вам еще,— продолжал оратор,— о том, что такое эти депутаты и что такое тот сейм, на какой они сходятся. Представим себе, что посреди очень далеких от нас и очень больших морей лежит малый островок. Никто из нас туда не может попасть, и никто оттуда не может к нам перебраться. А на том островке только одно село: правят там сами люди, и нет над тем правлением никого ни выше, ни старше его; издает оно все законы: оно — и суд и правительство. А живут в том селе мужики и десяток цыган. Что мужики на хлеб себе зарабатывают, то цыган либо кузнечным мастерством заполучит, либо колдовством отберет, либо украдет, а то и в полночь на большой дороге отнимет. Так оно и шло: у мужиков было хозяйство, а у цыган деньги, взятые обманом или награбленные у мужиков. Но пришло время, наступили выборы в правление. А выборных в него полагалось шестеро. Цыганы зашныряли среди хозяев, сунули в руку каждому деньги: подай свой голос за меня. И выбрали мужики одних цыган. Сошлись цыганские выборные и стали совет держать. Как вдруг один из них и говорит: «К чему нам о мужицкой выгоде думать? Установим такой закон, чтоб он для нас выгодный был». Цыгане послушались его и установили такой закон: «Мы,— гласил он,— люди вольные, у нас каждому воля воровать, грабить и взламывать. А ежели кто осмелится вору помешать, так тот вор имеет право такого человека убить и наказания за то не понесет никакого...» Такой получился цыганский закон.

Люди засмеялись, а оратор продолжал:

— Самое главное управление над всеми учреждениями находится в Вене, и мы туда посылаем депутатов. Ежели б мы туда послали одних воров или бы в наш амбар залез вор, мы обязаны были б угощать того вора жареной солониной и поставить ему еще око¹ горилки, а после того отвезти к нему домой все уворованное им добро на своем же собственном возу, чтоб вор не утруждался. Но мы не воров туда посылаем, а панов, и потому панам хорошо, а нам — худо. А кабы мы послали мужицких депутатов — был бы равный для всех закон.

¹ О к о — мера жидкости.

Народ зашумел, потому что эти слова всем пришлось по душе. Оратор переждал, пока шум немного унялся, и продолжал:

— Братья,— сказал он,— подождите, я сейчас кончу, только еще скажу насчет тех, кто берет деньги за свой голос, и еще насчет тех, кто боится вместе с нами голосовать. Ты, брат, возьмешь деньги за свой голос, и кажется тебе, что ты от этого разживешься... Но ты ж выбрал депутатом пана, своего самого лютого врага. Пан скинет самый тяжелый налог со своих плеч и переложит его на твои. Отнимет у тебя поросенка, у соседа корову, у брата кожух, у сестры — яловку. Разживутся на тебе, на твоей общине, да еще и твою общину, и твой край разграбят. И будет у тебя чистый убыток!

При этих словах к Петру Пидошве подошел присяжный, толкнул его в бок и говорит:

— А видите, куме, куда все это клонится?

— А ты, брат,— говорил оратор,— что боишься за нашего кандидата голосовать, лучше б ты так же боялся в корчму заходить. Там у тебя выхватят из рук кисет с деньгами, глаз тебе подобьют, чуб выдернут да к тому еще и голову тебе пробьют. А я что-то не замечал, чтоб это так тебя напугало, что ты второй раз боялся бы в корчму зайти. Коль мне чиновник из города скажет, что он боится голосовать,— я ему поверю: потому у него золотой воротник и три звезды. Не послушается старшого — звезды отнимут, воротник спорют, и он уже — простой человек. Но я — мужик, чего мне бояться? Из мужика меня никто в цыгана не разжалует, а уж ниже этого нету. Хоть бы меня даже сажей вымазали — я умоюсь, и опять прежний.

— А человек-то этот все как след объяснил,— вдруг прогудел голос из-под земли.

Все перепугались.

В это время на возвышении, впереди оратора, заскрипела доска и поднялась торчком, а из-под нее выкарабкался войт Иван Дышлюк. Он отряхнул полы кафтана, расправил чуб пальцами и сказал:

— Я боялся уездного начальника и хотел на сегодня уехать из села, чтоб не быть вместе с вами. Да больно тянуло послушать. Вот я и спрятался под помост, чтоб не дошло до уездного начальника, что я был на сходке. А теперь пускай он разжалует меня из мужиков, коли хочет!

Собравшиеся смеялись.

После собрания члены сельского правления сошлись в канцелярии, чтобы дать наказ Петру Пидошве, за кого голосовать. Семен Крук отказался от отавы, а старенький от пятерки. Петро Пидошва выслушал наказ и сказал:

— Это все верно, что вы говорите, да только почему как раз на мне все сошлось? Каждый брал деньги за голос, а мне первому приходится задаром...

Его поддержал приземистый Семен Крук.

— Пидошве впрямь обида,— сказал он,— дадим ему из бюджета пятерку.

Выборные согласились. Но старенький не доверял Пидошве:

— А что как он пятерку возьмет да еще позарится и на ту пятидесятку?

— Тогда мы его уьем! — сказал приземистый.

— Ладно,— согласился Пидошва,— убивайте!

— И еще утопить бы,— заметил с благочестивым видом старенький,— потому, как он очень крепкий и жилистый мужик, его трудно будет убить. Я еще его покойного отца помню: три раза его забивали до смерти, а он все оживал.

— Утопите! — соглашался Пидошва.— Как буду идти голосовать, так вы приставьте ко мне мужика с дубиной. Если только продам свой голос — пускай он на скале, над речкой, оглушит меня дубиной по затылку; я и скачусь оттуда на дно.

Пидошву вызвался сопровождать с дубиной Семен Крук. Однако старенькому этого показалось недостаточным.

— Он крепкий мужик,— говорил он с благочестивым видом Круку,— одолеет тебя. На такое дело надо двоих.

— Так пускай пойдет еще и присяжный, кум Юрко,— предложил Пидошва.

Так они порешили, так оно и случилось.

В субботу утром Семен Крук и присяжный взяли в руки по тяжелой буковой дубине и погнали Петра Пидошву впереди себя в город на голосование. По дороге присяжному стало жалко своего кума, он пошел рядом и завел с ним разговор. Приземистый же Семен Крук не допускал никаких послаблений, он шел позади и не произносил ни слова.

Когда подошли к реке, все трое, точно по уговору, взяли от дороги вправо и остановились на берегу. Он представлял собой обрывистую высокую скалу из белого камня. Под скалою не текла, а так и бурлила горная река. Над ней склонилась маленькая пихточка, цепляясь корнями за вершину скалы. Противоположный берег был покрыт густым молодым лесом.

Из-под ног срывались мелкие камешки, ударялись о скалу, сталкивали с места большие камни и плюхались в воду.

— Вот тут смерть найдешь! — сказал приземистый Пидошва.

Пидошва промолчал, за него ответил присяжный:

— Даст бог, все обойдется хорошо!

Само собой разумеется, что в городе они Пидошву не отпустили в уездную управу, где платили за голос, а отвели его прямо в канцелярию уездного начальника, так как голосование происходило там. Пидошва вошел внутрь, а эти двое оперлись на свои дубинки и терпеливо ждали его возвращения.

После того как Пидошва проголосовал, он подошел к старосте и сказал:

— Прошу милости у пана старосты, дать мне бумагу с печатью, что я голосовал за украинского кандидата.

Староста даже губу прикусил от злости. Если б не было вокруг людей, он избил бы Пидошву. Для злости у него было три повода: первый — что выборы вообще проходили для него неудачно; второй — что тупивкинский выборщик перешел на сторону оппозиции; а третий — что этот самый выборщик имел наглость так смело с ним разговаривать.

Однако Пидошва продолжал настаивать:

— Дайте мне бумагу с печатью!

— Что ты плетешь чепуху! — крикнул на него староста.

— Прошу милости у пана старосты, — говорил Пидошва псчтительно, но настойчиво, — это не чепуха, а смертельное дело. Мне нужно бумагу с печатью, а то меня убьют.

— Полоумный! — крикнул начальник и убежал от него в другую комнату.

Пидошва — за ним. Он уже взялся было рукой за щеколду, но его остановил какой-то поп.

— Подождите, мы вам выдадим бумагу.



Он заполнил карточку, подписался и дал ее подписать еще одному попу. Но Пидошва требовал обязательно и печати. Начались расспросы: среди присутствующих оказался какой-то панок, имевший печать со своей фамилией. Эту печать и пристукнули к карточке.

Пидошва взял карточку обеими руками, вынес ее наружу и отдал присяжному.

— Вот знак, как я голосовал.

Присяжный осмотрел карточку со всех сторон, подал ее Круку, и тот так же внимательно осмотрел ее.

— Надо ее дать до трех раз прочитать,— сказал Крук, потому что и он и присяжный были неграмотны. Они стояли у дверей, следя за всеми, кто выходил из помещения. Увидели попа.

— Прочитайте!

Тот прочитал. Попался им грамотный мужик, и этот тоже прочитал.

— Теперь пойдем в город, поищем грамотного мальчика. Ребенок скажет нам истинную правду,— промолвил приземистый, еще не уверенный в том, нет ли тут какого-нибудь сговора.

Они отправились в город, повстречали маленького школьника с сумкой через плечо.

— Постой, мы что-то тебе скажем.

Малыш испугался трех мужиков и пустился наутек.

— Мальчик, мальчик,— кричал, бросившись за ним вдогонку, приземистый,— подожди! Тебя мама зовет! Хочет дать тебе что-то!

Школьник приостановился. Они подошли к нему и подали ему карточку.

— Прочитай!

Школьник читал по складам:

— «Пе-тро Пи-дош-ва го-ло-со-вал за ук-ра-ин-ско-го кан-ди-да-та».

Пидошва перевел дух. Они поблагодарили школьника и ушли.

— А что,— спросил по дороге Пидошва,— тяжело было таскать дубину?

— Э, кто знает, как без нее было бы! — ответил приземистый и завел с ним дружескую беседу, словно ничего дурного между ними и не было.

ПОДАРОК СТРИБОГА

I

Сжалился как-то самый старший божок Перун над бедным своим народом, позвал к себе молодого Стрибога, да и говорит ему:

— Стрибоже! Ты моя десница; ты у меня словно у царя первейший министр. Не раз выручал ты меня, когда, бывало, я попадал в беду и не знал, как управиться с народом; ты умел так вывернуться, что и волки были сыты, и овцы целы. Народ ждет от нас с неба какой-то правды, а не понимает того, что, если он сам себе этой правды не сотворит,— всегда будет обижен. Вот теперь я, Стрибоже, как раз в такой беде. Бедный народ мой издавна докучает мне просьбами и молитвами. Я должен что-нибудь для него сделать, хотя бы для отвода глаз,— а то уже укорять он меня начинает, и боюсь, как бы не подпал под власть другого бога.

Для всего края сделать ничего не могу, ибо не хочу вступать в политику, да и неловко мне как-то задевать тех, кто господствует над народом. Но для одного села, пожалуй, можно бы.

Есть в горах село Смеречивка. Отрезано оно от всего мира: дорог туда нет, а чтоб попасть в него, надо перейти вброд двадцать и четыре глубоких речки. Нет там ни школы, ни пана и никакой власти. Поэтому я думаю, что никому не помешает, если я в Смеречивке сделаю народу добро. И меня после никто не посмеет упрекать, ибо я скажу: «Сделал все, что было нужно».

Полагаюсь на тебя, Стрибоже, как на самого себя: ступай ты в Смеречивку и сделай там для людей все, чего только сами они себе пожелают.

Так сказал Перун, и Стрибог его послушался: вспорхнул что птица и ветром спустился с неба на землю. А уж

как завидел Смеречивку, подумал: «Эхма! Счастье мое, что я бог и мне не надо ни ходить пешком, ни ездить на телеге, а то бы мне из-за этих тропинок и речек никогда не пришлось бы повидать Смеречивку, даже если б пригласили к попу на свадьбу».

II

Как только Стрибог появился в Смеречивке, народ страшно испугался, одни стали удирать, а другие прятаться. Люди думали, что это какой-то комиссар, так как Стрибог сиял, словно ясный месяц. Вот и испугались его. А еще больше испугались потому, что не знали, по каким делам комиссар.

Бывают разные комиссары: от одного прячут махорку, от другого соль, от третьего дрова из казенного леса, от четвертого прячут все что ни на есть в хате. А что прятать от этого комиссара, люди не знали и потому так боялись.

Сообразил бог, в чем дело, и стал успокаивать людей.

— Люди добрые! Стойте! — увещевал. — Я не комиссар, я — бог: вам нечего бояться.

И люди начали успокаивать друг друга:

— Не бойтесь! Это не комиссар, это бог.

Но не все сразу поверили. Кто-то крикнул:

— Какой там бог? Может, чертяка!

— Пускай сам черт, только б не комиссар!

Это окончательно умиротворило село. И все пошли за Стрибогом. Люди собрались на площади возле сельского правления, а Стрибог поднялся малость вверх и этак промолвил:

— Слушайте, смеречивчане и вся смеречивчанская община! Я есмь Стрибог, а прислал меня сюда самый старший божок — Перун; тот, что громами гроыхает и молниями испепеляет. Перун наказывал передать вам: «Сжалился я, говорит, над смеречивчанами и внял их молитвам. Говорите, что вам надо, и все свершится так, как вы сегодня передо мной, Стрибогом, пожелаете. Только не желайте ничего политического, ибо нельзя».

Община загудела и вдруг умолкла, Стрибог ждал, ждал, не дождался.

— Что же вы молчите?

Староста подошел к Стрибогу и поклонился ему в ноги.

— Прошу,— говорит,— милости старшего божка Перуна и вашей: мы боимся, как бы из-за этого не стали больше подати...

Стрибог заверил, что нет. Тогда весь люд заговорил и зашумел. Так сильно не шумят пчелы в улье, не каркают вороны на ветер. Ни слова нельзя было понять: такой гам учинился. Но один мужик из толпы громче всех крикнул:

— Нам бы казенные леса назад вернуть, чтоб были наши, как покои веков!

Но староста ему возразил:

— Взял бы,— да оно цесарево!

А какой-то мужик из толпы добавил:

— Гляди какой умник! Ему сподручно, ведь у него-то левада рядом с казенным лесом.

Стрибог даже подпрыгнул.

— Этого нельзя,— говорит,— это политическое.

— Политическое,— повторила толпа и успокоилась на этом слове, хоть не понимала его.

Толпа снова зашумела, снова загудела, но ни к чему путному никак не могла прийти. Стрибогу надоело ждать, и он стал допытываться, но ничего добиться не мог.

Вдруг один мужик — Семен, что умел скотине кровь пускать,— вышел вперед, земно поклонился Стрибогу и сказал:

— Прошу милости Перуна и вашей! Народ этот неговорящий: они вот так до смерти не столкуются. Лучше с каждым в отдельности в канцелярии поговорить.

— Кум Семен правду говорит,— поддержала толпа.

III

Стрибог послушался. Вошел в канцелярию, сел за стол и стал дожидаться. Тем временем за дверью столпились люди, каждому хотелось войти первым. Наконец кум Семен, расталкивая других, влетел в канцелярию, хотя ему в давке изрядно бока помяли и поцарапали лицо.

— Чего ты желаешь, человече? — спросил Стрибог.

Семен низко поклонился.

— Мне бы хотелось сказать вам кое-что на ухо, — ответил и боязливо оглянулся вокруг.

— Так подойди ближе.

Семен подошел тихонько, на цыпочках, словно кошка.

— У моего соседа Петра, — зашептал он Стрибогу, — есть пара хороших волов. Вот бы мне этих волов.

— Зачем тебе у соседа отбирать волов? Коли хочешь, я дам тебе других.

— Для меня волы ерунда, — шептал Семен, — у меня, слава богу, есть и без того. Но мне обидно, что сосед Петро разжился; а он очень злой человек. Он и того не достоин, чтоб у него в хозяйстве была даже курица. Если светлейшие боги не хотят дать мне тех волов, то пускай они посдыхают у Петра.

Сказав это, Семен умильно посмотрел Стрибогу в глаза и сложил молитвенно руки.

Стрибог молчал.

— У меня есть деньги, — продолжал шептать Семен. — Если бы эти волы сдохли, то я бы сейчас дал светлейшим богам двести ринских. Пускай светлейшие боги устроят пир, только бы Петру волы не приносили пользы.

— Проси еще чего-нибудь, — предложил Стрибог.

— Я больше ничего не хочу, — ответил громко Семен. — Я на меньшее согласен, только пускай станется, как я просил.

— Так выйди, ответ получишь после.

Семен было пошел, но от двери опять вернулся и прошептал Стрибогу:

— Я еще и вам, светлейший Стрибоже, накину полсотенки тайком от других богов, только сделайте так, чтоб получилось ладно.

— Выйди! — сказал Стрибог.

Семен вышел.

IV

Снова двери отворились, и сразу протолкнулось много людей. Но всех двери не смогли пропустить. В этой давке баба Варвара подняла руки и заверещала:

— Ой, боженька, задуют! Спасите, кто верует! Богачи, нелюди! Пропустите бедную вдову предстать перед богом, если нигде она не может правды добиться.

Стрибог сжалился над бедной вдовой Варварой и повелел ее впустить.

Вдова Варвара подбежала к Стрибогу, упала перед ним на колени и стала целовать его руки и ноги.

— Боженька наш любимейший, прекраснейший и всемогущественный! Властвовать бы тебе многая лета над миром крещеным, над панами да над царями. Дай же тебе, боже, вековечное господство и долюшку счастливую.

— Говори, чего хочешь? — спросил Стрибог.

— Я хочу целовать твои руки и ноги, — лепетала Варвара, — хочу выплакать пред тобою слезы свои кровавые. Боженька, какой это подлый люд и какой он лукавый! Не дожить бы им до завтра: не дожидаться бы им утехи от деточек; дай бог, чтоб их половодьем унесло; чтоб их огнем спалило за то, что они бедную вдову обижают, чтоб пали на них вдовьи и сиротские слезы кровавые!

Варвара залилась громким плачем.

— Говори ж, Варвара, что тебе надобно, — допытывался Стрибог.

— Что мне надо, — всхлипывала Варвара. — Вы не знаете, что бедной вдове надобно? Нужно ей лопату и яму: лучше в сырой земле гнить, чем, так мучаясь, на свете жить. Жизнь моя беспросветная, никто доброго слова не скажет. Лучше б мне и на свет не родиться. Зачем меня боги на свет пустили?

Хоть и бог, но и он рассердился на бабу:

— Говори уж сразу, чего хочешь!

— Я хочу, — говорила Варвара, — чтоб боги выслушали меня, чтоб сжалились надо мною, бедной вдовой, и увидели слезы мои горькие. Хочу я излить жалобы мои пред тобою, пресветлейший мой Стрибоженька. Пошли тебе, боже, доленьку счастливую на всех путях твоих. Дай бог, никогда не знать тебе ни беды, ни горя. Дай бог, чтоб ты еще стал у нас самым старшим богом.

— Опомнись, Варвара, разве не видишь, сколько людей дожидается, чтоб подойти ко мне? — начал было Стрибог, но Варвара, прервала его.

— Какие там люди, — закричала, — это псы, а не люди. Что я говорю — псы? Хуже псов! Лучше б холера

меня схватила, чем жить среди таких псов. Да вам и рассказывать не надо, светлейший Стрибоженька, ибо вам все ведомо. А хуже всех эта Параска, чтоб ей света белого не видеть, чтоб у нее язык отняло. Как эта сука меня допекла, сил моих нет. Паралик ее расшиби!

— Говори, чего ты хочешь? — закричал Стрибог, но Варвара не унималась.

На нее напала такая ярость, что она себя не помнила. Вскочила, подбежала к двери, заколотила по ней кулаками и заверещала:

— Чтоб тебе сдохнуть! Ах ты потаскуха, ах ты ведьма, ах ты воровка!

— Ты сама ведьма, ты сама воровка! — прокричала за дверью Параска, с треском распахнула дверь и плюнула в глаза Варваре.

Варвара бросилась к ней, но Параска толкнула ее в грудь. Варвара схватила Параску за жабры, но Параска была сильнее — отшвырнула Варвару от себя и отдубасила ее по загривку. Варвара кипела от злости, понимая, что Параска ее одолеет. От ярости не зная, что делать, бросилась к Стрибогу.

— Я хочу, — шипела от злобы, — я хочу, чтоб эта ведьма получила сейчас вот тут, на площади, перед всем честным народом двадцать пять палок по голому телу. Больше ничего не хочу!

Потом подскочила к Параске, размахивая перед ней кулаками.

— погоди, погоди ты, паскуда! Ты еще почувствуешь! До крови тебя будут пороть!

Но Стрибог махнул рукой, и обе бабы как бешеные вылетели за порог.

V

Опять открылась дверь, люди толпились и не пускали друг друга.

— Ты бьешь? — крикнул кто-то из толпы. — Так и я ударю. Эх!

— Ой-ой-ой! — заорал другой, потому что кто-то здорово огрел его по уху.

Поднялась кутерьма, словно там были не люди, а жуки в банке. Стрибог встал из-за стола и пошел к двери.

— Расступитесь!

Народ расступился. Стрибог обвел всех взглядом, выбирая человека самого покорного, дабы пропустить его к себе.

В углу стоял человек в изорванной свитке, босой, с открытой грудью.

— Зайди ко мне,— ласково сказал ему Стрибог.

Человек вошел.

— Я вижу, человеке,— говорил Стрибог,— что ты бедный и добрый человек. Проси у меня чего хочешь.

— Что будет в твоей милости,— ответил человек.

— По своему желанию я не могу ничего давать, ты сам должен потребовать от меня.

Человек пожал плечами.

— Нешто я знаю?

— А как же? Тебе что, хорошо живется на свете?

Человек вздохнул:

— Где там хорошо: нужда, нищета — и все тут.

Чтоб подбодрить его, Стрибог положил ему руку на плечо и ласково произнес:

— Так скажи, чего же ты хочешь, чтоб тебе лучше было?

Человек подумал-подумал и робко ответил:

— Вот разве, чтоб людей побольше мерло, да и то летом.

Стрибог отошел от него и сел за стол. Хотел было уже выгнать его и позвать другого, но еще раз обратился к нему так:

— А подумал ли ты, человеке, над своими словами? Зачем же тебе понадобилась людская смерть?

— Я могильщик,— ответил человек,— так, стало быть, чем больше людей будет умирать, тем больше я заработаю. А зимой мне очень трудно могилы рыть.

— А чего-нибудь другого не хочешь ли? Ну, чтоб ты мог стать паном, богатеem или кем другим?

Могильщик малость задумался, потом ответил:

— Нет! Это не для меня. Что для мужика панство? Да я бы с ума спятил либо повесился. Такова уж моя доля, и другой мне не надо. Хочу умереть могильщиком, потому что я к этому привык.

— Выйди, ответ получишь потом.

Могильщик поклонился и боком вышел из канцелярии.

Стрибог остановился в дверях, оглядывал людей и думал, кого бы ему позвать.

«Позову этого молодого парня. Он еще не зарится на чужой труд, сердце у него не испорчено: может, он не пожелает от меня обиды для людей, а, наверно, его юношеская фантазия захочет чего-нибудь чудесного и удивительного».

Так подумал Стрибог и громко обратился к парню:

— Парень! Как тебя зовут?

— Меня — Ивась.

— Зайди ко мне.

Ивась пошел было, но Сафат, большой здоровенный мужик, задержал его.

— А ты, гнида, куда?! Не полезть ли тебе на печь? Как это может быть, чтоб хозяева стояли у порога, а какого-то молокососа к богу пропускали?! Это несправедливо, мы не допустим!

— погоди, Сафат,— успокаивал его Стрибог.— Как только я поговорю с этим парнем, сразу тебя позову.

Сафат еще что-то буркнул сердито, но Стрибог не слышал, он взял Ивася за руку и ввел его в канцелярию.

— Скажи, Ивась, что бы ты пожелал от меня?

Ивась, пятнадцатилетний паренек, с любопытством посмотрел на бога и, не раздумывая, сказал:

— Мне хочется, чтоб у меня была большая железная булава и право свободно убивать этой булавой любую муху, где бы я ее ни заприметил, и чтоб за это никто не посмел мне ничего сделать.

Стрибог очень удивился, не понимая, для чего Ивасю такие странные вещи, и спросил:

— Зачем тебе это?

Ивась, не задумываясь, ответил:

— Я бы сейчас для первого раза убил этой булавой муху на лбу Сафата — за то, что он не хотел меня сюда пропустить. А потом, на танцах все бы меня боялись, так как я бил бы кого захочу: мухи-то на каждого садятся. А то, если б кто у меня корову захватил на потраве, так я б на нем сразу муху — бац! Все бы меня боялись, а я никого.

И так говорил Ивась, что даже покраснел от радости.

Стрибог тут же выпроводил его.

VII

Вошел Сафат и заговорил первый.

Был сердит и говорил сердито:

— У меня пять лет идет тяжба с братом из-за хаты, и больше я судиться не хочу. Я свою половину хаты приношу в дар старшему божку Перуну, но пусть он забирает ее себе сразу, теперь же. Пускай разразит ее своим громом, пускай испепелит, а заодно и братнину половину. Я хочу, чтоб это сейчас же случилось.

— Почему ты так резко со мной говоришь? — спросил Стрибог.

— Я не знаю, резко или не резко, но знаю, что это должно стать сейчас же, ибо дарю же я старшему божку свою половину хаты. Не так уж я глуп, чтоб не знать, что к чему.

— Опомнись, Сафат! — сказал Стрибог. — С кем ты этак разговариваешь? Ведь я бог. Я сделаю то, что мне захочется.

— Эва! Малость оно и не так! — кричал Сафат. — Коли вы сюда пришли, значит не задаром: вам за это платят. Ныне дуром никто ничего не раздает. Вам приказано давать нам больше, чем вы даете. О! Я не так глуп, как другие. У меня сразу должно быть то, чего я хочу, а если нет, то я уже знаю, куда мне податься!

Стрибог нахмурился, даже в хате потемнело, а Сафат, как ни был смел, вдруг испугался и сразу размяк:

— Простите меня, дурака, пресветлый боже, я больше не буду, — заговорил и тихонько попятился к двери.

VIII

Стрибог опечалился, что не сможет выполнить повеление Перуна и не в силах поладить со смеречивчанами.

«Попробую поговорить со старостой», — подумал и позвал старосту.

— Слушай, староста, я тебя считаю самым умным человеком.

— Что правда, то правда, а народ очень глупый, — сказал староста.

— Потому я тебя и спрашиваю, что я должен сделать для всего вашего села, для всех смеречивчан?

— Ладно,— сказал староста.— Отвечу за все село. Стрибог обрадовался и подумал: «Наконец-то добьюсь чего-нибудь путного».

— Я скажу пресветлому богу,— заговорил староста,— что нашему селу пришлось бы по нутру, только бы слова мои были выслушаны.

— Говори, все свершится, как пожелаешь.

Староста даже усмехнулся от удовольствия. Подошел близехонько к Стрибогу и зашептал ему на ухо:

— Нашему селу надо бы, чтоб к нам пришли паны и шинкари и чтоб все люди наши обнищали. Да еще нашему селу надобно, чтоб было свободно бить людей палками. Вот этак будет лучше всего!

Недаром что бог, но и он испугался, услышав подобное.

— Как это? Что ты говоришь?

— Вы, пресветлый боженька, еще не уразумели. Я вам сейчас расскажу все начисто, тогда убедитесь, что иначе с нашим народом нельзя.

— Говори!

— Я все скажу, только отойдем вон туда, в уголок.

Когда пришли в уголок, староста и говорит Стрибогу шепотом:

— Смеречивчане не хотят больше, чтобы я был у них старостой, поэтому я и сам не хочу быть старостой, даже если б меня и выбрали. Пускай же ныне все они обнищают, а вот тогда я скажу любому из них: «Видишь, не хотел, чтоб я был старостой, так пускай теперь над тобой будет старостой паршивый шинкарь. При мне ты был порядочным хозяином, а теперь шинкарь тобой помыкает. Не хотел ты моего ласкового слова слушаться, слушайся теперь панской палки». Вот что нашим людям надобно! Пускай же это с ними в недалеком будущем станется.

IX

Стрибог даже вспотел, так его утомил этот разговор. Не звал уже никого в канцелярию, а сам вышел на площадь. Остановился среди людей, вознесся немного вверх и обратился к толпе:

— Слушайте, смеречивчане и смеречивчанская община. Из тех, кто приходил ко мне, ни один не получит

того, что он просил, ибо все они просили недостойное. Имейте в виду, я явился к вам не для того, чтоб обижать людей, а для того, чтоб сотворить людям добро. А те люди, что со мной говорили, хотели только обидеть друг друга.

— Правда, святая правда! — крикнул мужик из толпы. — Это очень плохой народ. Вот у меня десять моргов земли, а у вдовы Варвары нет ничего, кроме маленького клина рядышком со мной. Уж как я уговаривал ее: «Уступи, баба, мне свой клин земли, все равно не приносит он тебе никакой пользы, ибо моя скотина все у тебя вытопчет». Так, думаете, послушалась? Где там! Ну, не поганый ли это народ?

— Молчи, — вскрикнул Стрибог, — когда я говорю!

— Я только к тому, — ответил мужик, — что и вам стоит послушать, как эта нищенка меня обижает. У меня еще есть дело, но о нем я скажу потом.

— Слушайте же, — продолжал Стрибог, — и больше меня не перебивайте. Но слушайте внимательно, чтоб хорошенько понять. Просите у меня такого, от чего бы всем было хорошо.

— Все равно, — промолвила какая-то баба, — если каждый в отдельности хотел плохого, то и все вместе захотят того же.

Стрибог похвалил бабу за эти слова и промолвил:

— Я, должно быть, для того и сошел к вам с неба, чтоб убедиться в этом. Но, однако, говорите, что вам надо.

Х

Услышав эти слова, толпа зашумела, загудела. Хоть разговор шел громкий и резкий, все же долго нельзя было разобрать, о чем говорят люди. Но вдруг явственно послышалась перебранка двух мужиков, они бранились с таким азартом, что перекричали всю толпу.

Пожалуй, их можно было бы сравнить с индюками во время кормежки. Тогда все индюки кричат и пищат все вместе на разные голоса, но точно не узнаешь, какой именно голос и какому индюку принадлежит. И вдруг среди них сцепятся два индюка, ожесточенно терзая друг друга за ожерелья, сначала они только жалуются тон-

ким писком, а потом начинают браниться. Вот тогда-то всякий разберет, что перебранка происходит между теми двумя индюками, что дерутся.

Так оно было и с этими двумя мужиками.

Но эта перебранка началась с любезного разговора.

Один из мужиков так сказал:

— Видите, кум, сколько тут собралось вместе христианского люда, и все равно на всех хватило бы трех ведер водки.

— Что это вы, кум, плетете! — крикнул другой. — Я вам говорю, что три ведра водки на столько людей слишком мало!

— А я вам говорю, что хватило бы, — спорил первый мужик.

Другой стоял на своем:

— Брежете! Трех ведер одним бабам мало, а не то что мужикам.

— Это вы брежете, как пес! У вас только глотка широка, чтобы браги больше вместилось, а в голове узко: нет расчета ни капельки.

Услышав крик, толпа утихла. Так утихает шумная игра детей, когда появляется среди них мать, что привезла подарочки из города. Немного погодя к этой перебранке присоединились и другие люди. Одни говорили, что трех ведер водки хватит вдосталь, а другие — не хватит.

Уладил этот спор Семен — тот, что умеет скотине кровь пускать, — потому что он во всяком деле был хитроумным. Вот как он его уладил:

— Хватило бы аль не хватило, а шесть ведер лучше трех.

— Правда, — подтвердила толпа.

— Пускай будет шесть ведер, а то, вишь, если три, то богатен все расхватают, а бедняк разве только пальчики оближет.

Эти слова добавил могильщик, который стоял позади всех и не знал, с чего затеялась эта перебранка.

— А что, если попробовать? — вмешалась в разговор бедная вдова Варвара.

— Разве пойти, что ль? — послушался староста вдовы и нерешительно поглядел на людей.

— Идите вы.

Староста почесал затылок.

— Ступайте вы, кум Сафат.

— Нет, ступайте вы, кум Семен,— отнекивался Сафат; хоть всегда был смелым, он теперь боялся Стрибога, чтоб тот снова не нахмурился.

XI

Стрибог заметил, что люди чего-то хотят и о чем-то сговариваются, поэтому позвал их к себе.

— Чего же вы хотите?

— Мы хотим шесть ведер водки,— ответил староста.

— А то, вишь, община велика,— добавил хитрый Семен, ибо заметил, что Стрибог призадумался.

А Сафату показалось, что Стрибог, наверно, хочет нахмуриться,— поэтому низко склонился и робко цедил слова сквозь зубы:

— Так, может, хоть на пробу: сколько бы понадобилось на всех нас.

Где-то кто-то как-то сказал, что боги, кажись, никогда не печалются. Разумеется: у них готова и ложка, и миска, и топлива не надо, одеваться не одеваются, подати не платят, в суд не ходят, уездной управы нет,— чего бы им печаловаться? Но Стрибог, услышав это-кое, видимо, опечалился (так об этом после рассказала Параска за выпивкой у вдовы Варвары).

Стрибог подумал, подумал и не сразу спросил:

— Так это то единственное, что должно для всех добром стать?

И староста, и Семен, и Сафат оглядели украдкой весь народ.

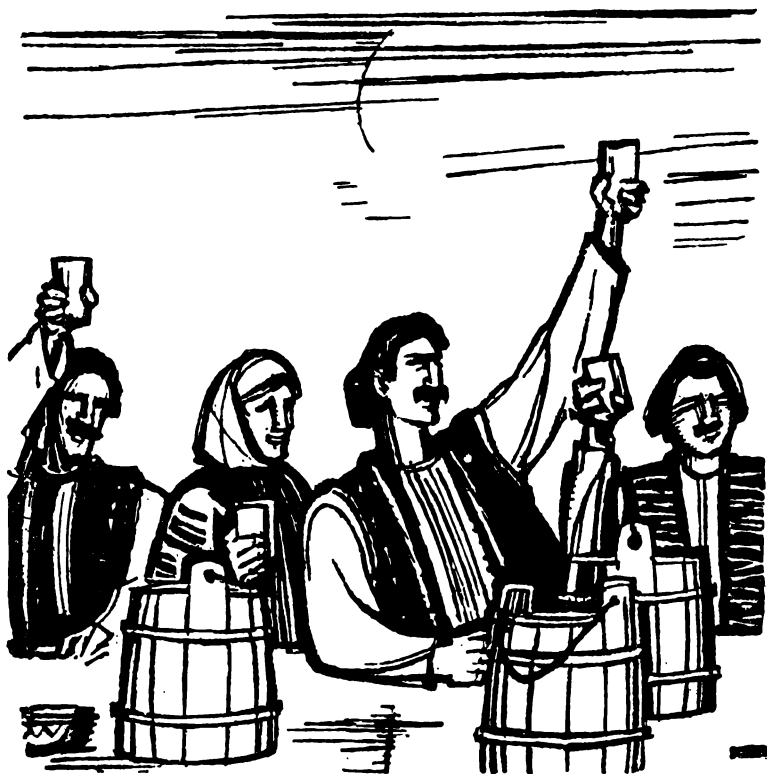
— Мы так порешили! — закричали все.

Варвара подошла к богу и начала жалобно приговаривать:

— Поелику народ бедный, несчастный, так вот за выпивкой забудет свое горе. А за угощением договорятся и будут жить в согласии. Да и я помирюсь с Параской, бог с ней! Грех ссориться! А народ очень злокозненный, враждует друг с другом. Да что вам говорить, светлейший Стрибоженька, вам лучше ведомо.

— А мужику что надо? — заговорил и могильщик.— Было бы ведро полное, а там впрягай мужика, как вола.

— Что правда, то правда: народ темный,— подтвердил староста, показав рукой на смеречивчан.



А собравшиеся не сводили глаз со Стрибога и терпеливо, с любопытством ждали, как он поступит. Голодные утки не заглядывают с такой жадностью в руки хозяйке, когда она выходит с решетом во двор.

Стрибог велел принести шесть ведер воды, чтоб превратить ее в водку.

Как услышали люди такое, то словно никого и не было на площади: все бросились по хатам за ведрами. Точь-в-точь вот так разбегаются цыплята с тока по кустам, как только петух крикнет: «Ястреб над нами!»

Люди бежали к колодцу и наливали кружками воду в ведра. Ставили ведра перед Стрибогом и миролюбиво помогали друг другу. Народ старался так усердно, как му-



равьи, которые тащат яйца в муравейник перед дождем.

Когда поставили перед Стрибогом рядом шесть ведер, он поплевал в воду, и она сразу стала крепкой водкой.

Смеречивчане не знали, как и благодарить бога.

А Стрибог вспорхнул, как птица, и ветром вознесся с земли на небо. Только его и видали.

Смеречивчане пили магарыч, и от этого была двоякая радость: одна на земле, где пировали смеречивчане, а другая на небесах среди богов, которым удалось так порадовать и развеселить бедный народ.

ВЫРОДОК

I

От порога к столу — мокрый грязный след, потому что на дворе ненастье. Свету убавилось, стало тесно, как в горшке. От этого тоскливо на печи бабке, которая в такую пору всегда кашляет; тоскливо Иванихе варить, потому что печь дымит; тоскливо Ивану сидеть за ткацким станком, потому что темно.

Как вдруг с грохотом отворилась дверь, и в хату вбежал босой, забрызганный по колено грязью подросток Микитка, самый младший брат Ивана. Он хлопнул дверью так, что стекла в окнах задребезжали. Тоска сразу исчезла, и все трое разом подняли головы.

— Что это, хата валится? — спросила бабка с печи.

— Тыфу на твою голову! Тебе мозги отшибло? — сказала Иваниха Микитке. — Почему бога не славишь¹, когдаходишь в хату?

— Потому что некогда.

— А почему не подходишь поцеловать бабке руку?

— Потому я не к бабке пришел, а к Ивану.

— Ты ко мне в гости? — отозвался Иван из-за станка. — Сейчас я тебя, как гостя, так привечу, что понесешь свой зад в руках и три дня не присядешь!

— Я для того и пришел. Возьми, Иванко, кнутовище, а еще лучше железный прут, и так отхлещи меня, чтоб кровь сквозь рубашку проступила.

— Ты рехнулся?

— Потому как мне следов надо.

¹ На Западной Украине в знак приветствия говорили: «Славайсу» («Слава Иисусу»), на что отвечали: «Слава вовеки».

— Каких следов?

— Синяков! Меня сегодня побил Ципенюк, и я хочу на него в суд подать. Да беда: раз следов нету — так ему ничего за это не будет, а я хочу его в тюрьму засадить.

— В тебе самом, знать, бес сидит!

— Пойдем, Иван, попаришь меня как следует.

— Иди привяжись к сухому суку, оставь меня!

Бабка на печи рассвирепела.

— Убирайся из моей хаты, напасть голодраная! Это ты такого доброго хозяина хочешь засадить в тюрьму. Ах ты заморыш недоношенный! Господи милосердный! И что нынче за поганый народ пошел на свет! Вон отсюда, антихрист! А то как хвачу чем ни попало — тут и конец тебе!

— Кабы вы смогли, я б еще вам спасибо сказал... Да вы ж только даром хлеб переводите, а помереть не можете!

Микитка умышленно дразнил бабку — для того, чтоб его избили. Бабка даже посинела от злости.

— Этот чертенюк нападает на меня в моей же собственной хате!.. Иван! И ты молчишь? Хвати-ка его разок, пускай убирается!

Микитка подхватил:

— Хвати, Иванко, хвати,— да только не один разок — кнутовищем или железным прутом. Я тебе свою долю отдам, когда отец помрет.

— Убирайся-ка ты, падаль! Ты и без того сгниешь в тюрьме и оставишь мне свою долю.

— Так меня ж скорей унесет, коли ты всыплешь мне сегодня на здоровье.

— Иван! — ворчала бабка.— Ты ума решился? Ну посудите сами, люди добрые, эта гнида напала на меня в моей же хате, а он с ним беседу завел!

— Вы-то уж, мама, помолчите! Он к вам затем и привязался, чтоб его побили.

Бабка умолкла.

— Пойдем, Иванко, отколотишь меня,— стоял на своем Микитка. Я ухвачусь в сенях за жернов, а ты сзади шпаль сколько влезет. Потому, коли не захочешь, так, ей-богу, пожалеешь: я тебя подожгу.

— Ах ты пашенок, ты что там гавкаешь?

Иван рассвирепел. А тут еще Иваниха вмешалась:

— Ты думаешь, такому поганцу трудно? У него ж в сердце бога нету!

У Микитки сверкнули глаза.

— Тогда и то зерно у вас сгорит, что вы летом у отца наворовали. Небось я видел...

— Ой! — вскрикнули в один голос Иван с Иванихой.

Иван вылез из-за станка, багровый от ярости.

— Ей-богу, побей его! — крикнула Иваниха.

— Так ты меня вором обзываешь? — говорил Иван, снимая с ноги нитки, в которых он в раздражении запутался. — Ну постой, сейчас я с тобой расправлюсь!

— Я тебе еще что-то скажу, чтоб ты еще больше рассерчал. Знаешь, где твои нашивальники — те, что летом пропали? Это я их украл и порезал на ремешки, — сделал из них наглазники нашему псу.

— Ах ты висельник!

Все трое не помнили себя от злости.

— А ну-ка идем, голубчик, сейчас я тебе устрою баню! — проговорил Иван и, ухватив Микитку за шиворот, так и вынес его в сени.

II

В хате бабы продолжали злиться.

— О! Пускай лупит, пускай хорошенько отдерет, раз уж лиса сама попалась в капкан! — говорила бабка.

— Эта мразь еще ворами нас обзывает! Он, видно, и отцу такое наговорил. Ах, чтоб его разорвало! Да и какого же убытку наделал! Боже! Боже! Сколько я из-за тех нашивальников наплакалась, как мы с Иваном из-за них грызлись: нашивальники-то стояли целых полтрети лева!

В сенях поднялся шум.

— Что это? Это он его так хлещет? — спросила бабка. — А поди-ка погляди.

Иваниха выглянула в сени.

— А как же! Это Иван его так расписывает. А он ровно каменный: держится за жернов, прикусив губу, и даже не поморщится. Еще и приговаривает: «Бей в одно место, чтоб синяк лучше вздулся!»

Спустя некоторое время бабка опять говорит:

— Скажи, пускай уж перестанет, а то еще забьет его, на беду. Да, кажись, уж не бьет, потому как утихло.

Иваниха снова выглянула в сени.

— Скинул рубашку и велит Ивану поглядеть, есть ли

большие синяки.— Заставляет еще бить,— хочет, чтоб кровь сквозь рубаху выступила.

Снова шум в сенях.

— Скажи, пускай перестанет,— говорит бабка,— а то еще какая беда случится: готов же, стервец, помереть! Это у него только упорство такое, а силы нету: ему ж только четырнадцатый год...

Но говорить об этом Ивану оказалось излишне, так как в эту минуту Иван с Микиткой вошли в хату. Микитка был бледен, как стена, дрожал всем телом, губы его тряслись, по щекам текли слезы.

— Понравилось? — спрашивает Иван.— Это тебе за мои нашилники!

— Тоже из тебя хозяин! Заморился, больше бить не может!

— Так тебе, дьяволу, еще мало? — говорит Иваниха.— Ишь как заплакал! По отцу родному так плакать не будешь.

— Ты думаешь, я плачу? Это слезы сами капаят, черти б их побрали! — отвечал Микитка, хватаясь рукой за глаза, точно за нос, и сбрасывая слезы на землю.— Я вас таки высушу, чертовы гляделки!

— Чего же ты стоишь? Почему не уходишь? — крикнула с печи бабка.

— Дожидаюсь, пока припечет, а как нет — пускай опять бьет! Ох, припекло! Ой, жжет, как огнем! Вот теперь, Ципенюк, ты у меня насидишься! Здорово печет. Это меня в город погонит, будто кнутом. По земле не буду ступать,— так поскачу, что твой рысак!..

Микитка кинулся к дверям, но с порога бросил еще:

— А ты, Иванко, не рассказывай никому, что так меня побил, а то сам пойдешь в тюрьму за то, что посек меня, как капусту.

Когда Микитка ушел, Иван проговорил:

— Я не верил ни в какую чертовщину, а нынче верю, что он выродок. Это дьявол подменил ребенка в колыбели. Он так въелся дома каждому в печенки, что отец уж хотел его убить, да потом убоялся греха, ну и тюрьмы тоже. Купил отец коня — такого, что и лягался, и кусался, и подковал его на все четыре. Думка была у него такая, что вот, мол, Микитка толкается промеж лошадей,— конь трахнет его подковой по лбу, и будет ему аминь! Так вы думаете, попало ему? Куда там! Конь лягнул отца, лягнул мать, лягнул меня, а этот выродок

подлазил коню под брюхо, дергал за хвост, а конь его и не тронул.

Бабка закручинилась.

— Я ж говорила, что от этого беда приключится, — либо он по дороге замерзнет, либо тебя в тюрьму засадят.

Но когда каждый из них снова принялся за работу, кручина рассеялась, и вместо нее ко всем троем опять привязалась осенняя тоска.



А Микитка был уже далеко за селом. Он быстро несся вскачь по лужам, и грязная вода даже с каким-то визгом прыскала высоко вверх из-под его босых ног. На боль в спине он не обращал внимания, радуясь, что судебный врач осмотрит его синяки и из-за них Цепенюка засудят. Весь мир делал все назло Микитке: дома его презирали и били, на селе его били, никогда ни от кого не слышал он ласкового слова, а только ругань. И теперь Микитка испытывал радость оттого, что оплатит миру той же монетой.

Ч А Й

I

Под высоким дощатым забором, отгораживавшим помещичий сад от улицы, стояли мальчики и советовались.

— Пойдем мимо скотного двора,— предложил Ивась.

— А вдруг бык выбежит? — сказал Петрусь, самый старший, самый большой и самый сильный среди мальчиков. В играх он всегда был кучером, а остальные мальчики — лошадьми. Но он был не больно храбрый: случись какая-нибудь опасность, он тут же бросался наутек, а когда надо было вырвать у кого-нибудь ломоть хлеба или еще что-нибудь, тут он был первый!

— А я быка не боюсь,— похвастался Митруня, из всех самый маленький.

Среди мальчиков он казался маленьким грибом. В играх постоянно был жеребенком, потому что не мог бежать наравне с остальными, к тому же крайка¹ сползала ему на самые колени и путалась. Он всегда отставал.

— Да разве ты видал быка? — презрительно спросил его Петрусь.

— Отчего же нет? У нас их аз целых два! У них такие больšie вымени. Сто лаз!

Мальчики хохотали.

— Вот дурак! Да это коровы!

— А мама говорили, сто это быки, а не коловы, потому молока не дают...

Сошлись на том, чтобы не идти мимо скотного двора. Тогда Петрусь предложил пойти мимо риги.

— Ладно,— согласились мальчики и отправились.

¹ К р а й к а — вязаный шерстяной пояс.

Но Ивась остановил всех и объявил:

— А там индюк!

— Ну и что ж, что индюк? — удивлялся Никола.

Ивась прищурил один глаз, склонил голову набок и передразнил Николку:

— Так что зе, что индюк!.. А вот как схватит за ногу, да как глаз выключет!..

— У индюка — глебешок, а лычит, как собака. Плавда? — допытывался Митруня.

Однако на него никто не обращал внимания, потому что каждый раздумывал над тем, надо ли бояться индюка или нет. Выходило, что индюка надо бояться еще больше, пожалуй, чем гусака.

Вот и мимо риги не решились идти.

Самый проворный, Грицуня, подал еще один совет:

— Знаете что? Пойдем в обход...

Но за этот совет Петрусь на него рассердился.

— Да иди ты, дурак! Там на поле озимь такая уже большая, что мы заблудимся. Только большие дяди там могут ходить.

Мальчики стали размышлять над тем, как страшно блуждать по озимям, где только и видишь, что небо да зеленые стебли, — ничего больше! И пришли к тому, что и в обход нельзя. Все опечалились, кроме Митруни, так как он не понимал и не печалился о том, куда пойдут ребята.

Подошел к ним пастушок, ведя на веревке корову, посмотрел на ребят, и жаль ему стало, что не может остаться с ними, а должен пасти корову.

— Куда? «На чай»? — уныло спросил пастушок.

— «На чай»! Пойдем с нами! — предложил Петрусь.

Он всегда звал «на чай» всех, кого бы ни встретил, потому что компанией идти безопасней, но уже перед самой господской кухней рад был от всех избавиться.

Пастушок грустно сказал:

— Никак нельзя, корову гоню пастишь; мама поколотит! Может, завтра пойду с вами.

Самый проворный из мальчиков, Грицуня, упорно думал, по какой дороге лучше всего пройти к господской кухне, однако ничего выдумать не смог. Посмотрел только вверх на забор и, легонько кивнув головой, сказал:

— Кабы кто пересадил нас на ту сторону: там, за садом, сразу кухня.

Мальчики подступили к плетню и стали заглядывать сквозь щелки, чтобы хоть посмотреть на кухню. Митруня увидал много деревьев, а на земле полно всяких цветов, облетевших с них.

— Эх! Какие цветочки! — удивлялся Митруня.

— Пошел, дурак! У него все цветы в голове! Смотри-ка, эвона кухня!

Митруня никакой кухни не видел. Во-первых, потому, что не знал, в каком она месте, а во-вторых — так загляделся на цветы, что ничего больше не замечал.

Зато мальчики постарше видели между деревьями большую помещицью кухню. Проворный Грицуня не переставал думать о том, как бы забраться в сад. И додумался-таки. Заметив, что в одном месте плетень погрызли собаки, Грицуня посоветовал выдрать из плетня надломленные прутья, чтобы можно было пролезть и попасть на ту сторону. Но Петрусь испугался:

— А ну как садовник увидит и убьет?

Митруня этих слов не понял и спросил:

— Что это — убьет?

— Насмерть!

Однако и это не дошло до Митруни.

— А мы полегоньку да потихоньку! — посоветовал проворный Грицуня.

Мальчики послушались, так как уж больно хотелось им перебраться на ту сторону. Повытаскивали они надломанные прутья, и в плетне образовалась такая дыра, что курица легко могла бы пролезть. Впрочем, мальчики были так малы, что и они протиснулись, хоть и не без труда. Первым пролез Грицуня, а за ним остальные. Только самый маленький, Митруня, лез как-то поперек и застрял в заборе. Однако он не огорчился, наоборот — громко смеялся: ему было смешно, что плетень держит его и не пускает, словно играет с ним.

II

Во-первых, в этом саду очень хорошо пахло, потому что по краям голубела сирень и алели кусты роз. Во-вторых, вся земля была устлана лепестками разных цветов, облетевших с деревьев. В-третьих, благодаря теням высоких и разросшихся деревьев в саду было темнее и прохладнее, чем на улице. В-четвертых, когда под

ногами хрустела малейшая веточка, звук стелился по земле, как дым по росе. Все это нагнало страху на старших мальчиков, осторожно и медленно прокрадывавшихся за деревьями.

— Николка,— шептал Петрусь,— как прибежит пес, ты не бойся — он молодой, он не кусает, только ласкается. Только зови его: Гектор! Чуешь?

— Ладно! — ответил шепотом Николка.

Внезапно все остановились, оторопели и точно прилипли к месту: маленький Митруня крикнул так, что по саду эхо прокатилось:

— Меня подозре!те!

Грицуня первый опомнился и подбежал к нему. Закусил кулачок и прошептал:

— Тихо! А то садовник услышит!

Но Митруня этого не понимал. Он дергался в плетне и говорил еще громче:

— А как же — я не могу плозеть!

— Цыц ты, черт! — шептал Грицуня и стал его вытаскивать.

Как ни старался Грицуня, но никак не мог справиться один. На помощь ему к плетню вернулся Петрусь, он боялся стоять в саду.

С помощью Петруся и Грицуни малыш выкарабкался из плетня, но крайка зацепилась за прут и застряла там. Митруня уже не стал подпоясываться, а взял крайку в руки.

Мальчишки постарше, прячась за стволами, быстро перебегали от дерева к дереву и так постепенно продвигались вперед. Митрунька же шел на виду, мимо розовых кустов. Крайка выпала из его рук, но он и не заметил этого; лишь набирал полные горсти опавших белых лепестков, подбрасывал их вверх, тешась, что они летали в воздухе, словно рой белых мотыльков, и садились на траву. Митруня не умел прятаться, что с того: все равно никто не приметил бы его издали, потому что он утопал в гроздьях алых роз и мальв и в кружевах белых цветов. Его румяные щечки были похожи на мальвы, а белая рубашонка сливалась с цветом белых роз.

Поэтому никто не заметил мальчиков. Только молодой пес Гектор почуял их и залаял. Мальчишки вздрогнули, а маленький Митруня скривил губки и собрался заплакать.

Хотя старшие хорошо знали Гектора и не раз играли с ним, тем не менее, когда он подбежал к ним, они испугались, от страха присели на корточки, протянули к нему руки и звали его каким-то умоляющим голосом:

— Гектор! Гектор!

Митруня больше всех перепугался, завизжал не своим голосом и пустился наутек. Не помогли и призывы Грицуни, кусавшего себе кулачки и неистово шипевшего:

— Цыц! Не бойся!

Митруня затоптал маленькими ножками прямо к дыре в заборе. Пес — за ним. Митруня споткнулся и упал, а пес с разгона перескочил через него. Пролезая под забором, Митруня впопыхах разорвал на себе рубашку и расцарапал щеку. Домой прибежал он ни жив ни мертв.

Старшие мальчики залезли в бузину, свернувшись клубочком, как ежи, затаили дыхание и стали прислушиваться, не идет ли кто. Когда убедились, что вокруг ни живой души, направились, согнувшись, дальше — к кухне

III

Недалеко от кухни, за садом, были заросли калины, бузины и молодых акаций. Ребята остановились перед этими зарослями, готовые каждый миг скрыться в их глубине, если появится какая-нибудь опасность. Впереди всех стоял Николка, потому что «на чай» он пришел в первый раз и не знал, что его ожидает.

Но вот во дворе показался поваренок и закричал на него:

— А вы, попрошайки, опять тут путаться?!

Поваренок был господским холуем и сильно ненавидел крестьянских детей. Он подбежал к Николке и так ударил его в лицо, что пошла кровь носом.

Николка завопил, расплакался и побежал наобум, ничего перед собой не видя. Долго он блуждал за скотным двором, за ригой и хлевом, пока не вышел на дорогу.

Поваренок еще пуще рассвирепел: снял с себя ремень и кинулся на троих. Они не то засмеялись, не то заплакали и разбежались по зарослям, точно куры от ястреба. Но Грицуню поваренок все-таки догнал и стеганул ремнем по шее. Пряжка ударила Грицуню по уху, на котором сразу же вздулась багровая опухоль.

На поднявшийся шум и крики из кухни вышел толстый повар.

— Что это за крик?

— Ребята «на чай» пришли, да я их уже напоил! — смеясь, отвечал поваренок.

Повар тоже улыбнулся.

— Оставь! У меня для них есть работа. Подите сюда, хлопцы, не бойтесь!

Все три мальчика словно из-под земли вынырнули. Однако из предосторожности стали так, что повар невольно заслонял их своим телом от поваренка. Повар заметил опухоль на ухе Грицуни.

— Что это у тебя?

— Это меня поваренок так пряжкой ожег.

— Не больно?..

— Немножко! Да я не такой, как Николка, — у него вон кровь носом пошла, он расплакался и домой побежал. А я вытерплю!

Петрусь завидно стало, что Грицуне есть чем похвалиться перед поваром, поэтому тоже не отставал от него.

— А мне хоть бы голову проломили — и то не заплачу! Я твердый!

— Да и я крепкий, — сказал Ивась.

— Чудесно, хлопцы! А полоть умеете?

— Умеем!

— Тогда выполите грядку свеклы, а за это я потом вас чаем напою.

— Добре!

Повар проводил мальчиков на грядку, а Петрусь воспользовался этой минутой, чтоб избавиться от остальных двух, и потому сказал им так громко, чтобы и повар услышал:

— А вы разве умеете полоть? Вы только мне помешаете!

Грицуня рассердился.

— Ишь какой умный! Я лучше тебя умею.

— Врешь!

— Убирайся, а то дам тебе раз!..

— А может, ты уберешься, свиненок?

Оба мальчика стали друг против друга, как два петушка.

— Тихо, хлопцы! — сказал повар и показал им грядку, которую нужно было выполоть.

— Они не умеют положить,— пожаловался Петрусь.

Ивань и Грицуня так испугались, что побледнели.

— Мы, ей-богу, умеем,— клялись они и били себя в грудь кулаками.

— Все трое будете полоть,— сказал повар.

Оба мальчика при этих словах даже улыбнулись от радости.

Повар, уходя, наказал:

— Полите чистенько, чтобы ни одного сорняка не осталось.

— Мы чистенько будем и быстро! — ответили мальчики.

Сейчас же взялись за прополку. Торопливо вырывали сорняки, приглядывали друг за дружкой, чтобы было чисто и быстро. Больше всех наставлял Петрусь: как только кто оставит сорнячок, тотчас выбранит:

— А тебе стоит чай давать? Видишь, какой сорняк оставляешь!

Мальчик со страхом оглядывался назад, украдкой вырывал сорняк и клялся, что полет чисто.

У Грицуни разболелось ухо. Он не вытерпел, начал стонать, а потом горько расплакался. Ивань поглядел на заплаканного Грицуню и сказал Петрусю:

— Правда, Петрусь, что я бы не плакал, если б он меня так по уху треснул?

Вместо Петруся ответил, всхлипывая, Грицуня:

— Как же не плакал бы, коли жжет, как огнем?

— Не переговаривайтесь, а работайте! — крикнул на них Петрусь, разыгрывая из себя наставника.

Мальчики умолкли и старательно взялись за работу. Только когда в барских покоях раздавался скрип дверей, все трое прятались в свекле, ложились наземь, затаив дыхание, и прислушивались всем телом, не идет ли кто бить.

IV

Только уже под вечер мальчики окончили работу. Они несмело подошли к кухне и пугливо заглядывали, но как только открывалась дверь, пускались в заросли и оттуда подсматривали, кто это вышел.

Несколько раз выходил поваренок, выходила какая-то левка, и каждый раз мальчики прятались. Наконец

дождались повара, подбежали к нему и сказали, что работа окончена.

Повар осмотрел грядку, похвалил мальчиков, сказав, что они будут хорошими работниками, и обещал сейчас же прислать чай. Мальчики встали перед зарослями и дожидались. Поправляли на себе тихонько одежду; друг другу не промолвили ни слова. Долгонько еще пришлось им ждать девку, но все-таки дождались.

Девка вынесла им чай в старой жестяной квартире. Все они протянули руки, но Петрусь, самый сильный, оттолкнул двух остальных, схватил квартиру и отбежал в сторону. Обиженные двое просили девку:

— Скажи ему, чтобы и нам оставил!

Но девка была неприветливая и злая: что-то пробурчала под нос и пошла в кухню.

Тогда Ивась и Грицуня бросились к Петрусью, просили с протянутыми к квартире руками:

— Петрусь! А, Петрусь! Оставь и нам!

Потом, чтоб задобрить Петруся, начали хвалить его.

— Он добрый! Третью часть только отопьет, остальное оставит нам,— говорили они и заискивающе смотрели ему в глаза.

Петрусь, однако, и не думал отдавать, так что у двоих даже руки начали дрожать над квартирой. Наконец не вытерпели и стали хватать ее руками. Петрусь поворачивался тогда в другую сторону, а Грицуня и Ивась обегали кругом и опять оказывались перед его глазами. Петрусь снова отворачивался, а те опять забегали. Похоже было на то, будто Грицуня и Ивась крепко привязаны к Петрусью какими-то невидимыми путами, потому что стоило ему повернуться в ту или в другую сторону, как и они забегали вокруг него. Создавалось впечатление, будто Петрусь с каждым поворотом замахивался двумя мальчиками.

Чай был очень горячий и обжигал Петрусью язык, а нёбо будто кто колот иголками. Но он этого не замечал, все пил, пил, не переводя духу, потому что боялся, как бы те двое не отняли у него квартиру. И в конце концов отняли — не могли дождаться! И теперь уже оба — Ивась и Грицуня — стали вырывать квартиру друг у друга.

— Пусти! Дай сюда!

Кричали, дрались, сердились и чуть не плакали от злости. Горячий чай выплескивался им на руки, на рубашки, на лица, почти весь выплескался. Не обошлось

без того, что чай и обварил мальчиков. Но они ничего не чувствовали, в такой задор вошли!

Когда заметили, что чаю уже мало осталось, один за другим быстро совали руку в кварту, хватали остатки сахара, но только мочили пальцы и облизывали их. Пальцы у них были перепачканы землей от прополки, и потому в кварте был уже не чай, а густая черная жижа, которая только мазала мальчикам лица и вычернила им языки.

Но пришла девка, отобрала кварту, дала обоим по тумaku в спину, выругалась скверными словами и прогнала их со двора. Заплаканные и перепачканные, маль-



чики бегом пустились в сад, но, на беду, явился садовник и погнался, чтобы их отодрать. Они добежали до самых хлевов и там бродили у ограды, высматривая: не подойдет ли кто-нибудь, кто проводит их мимо скотного двора, потому что боялись быка.

Дождались! Из имения возвращались домой какие-то рабочие. Мальчики смешались с ними и вместе вышли. Догнали пастушка, который вел на веревке корову — уже с поля домой. Мальчики хвастались перед ним:

— А я что-то такое сладкое облизал, во как! — хвастался Грицуня.

— Да и я! — сказал Ивась.

Молчал один Петрусь, потому что у него облез язык и нёбо и болел живот.

Однако, несмотря на это, немного погодя мальчики опять договаривались, когда им завтра идти «на чай».

ПРОЩАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР

I

Когда работа милее всего человеку? Наверно, тогда, когда он сам себе эту работу придумает и сам возьмется за нее. А вот у молодого учителя Мицька было не так. Хотя он сам себе работу придумал и сам взялся ее сделать, она ему тем не менее сразу осточертела.

Работа его сводилась к следующему: он должен был составить речь, выучить ее и произнести на проводах пана директора. Пана директора народной школы переводили на новую должность в другой город; поэтому его товарищи по службе и друзья сговорились справить ему прощальный вечер. Мицько сам вызвался произнести речь на этих проводах.

По молодости лет ему льстило, что он при всех станет среди комнаты и громко будет произносить речь перед директором. Ему казалось, что все будут с восторгом смотреть на него и хвалить.

Но не так оно случилось, как ожидалось: эта речь опротивела Мицьку еще до того, как он ее составил, ибо, что он ни придумывал, все получалось нескладно. Он злился и готов был исколотить себя, а при этом немало проклятий перепадало и директору:

— Ах, чтоб черти побрали этого директора, как я из-за него мучаюсь! На улице так хорошо, а я должен корпеть над какой-то речью, вместо того чтоб пойти погулять. Угораздила меня нечистая сила напроситься произносить речь этой старой галоше. А потом еще смеяться будут: не способен, мол, связать даже нескольких слов.

Так мучился Мицько не один день. А когда наконец составил эту речь, стал читать ее перед знакомыми. Но почтовый чиновник Болотневич побранил его за это.

— Не хвались ты своим детским лепетом перед каждым. Ведь мы уговорились держать в тайне прощальный вечер, чтобы это было неожиданностью для директора, а ты как начнешь болтать, директор и прослышит раньше времени.

Обидно стало Мицьку, что Болотневич назвал его речь детским лепетом. Но он утешал себя тем, что речь его выиграет, если ее не читать, а произносить. Поэтому с серьезным видом, встав дома перед зеркалом, выпрямился, положил правую руку на сердце, обвел глазами воображаемых слушателей и стал произносить громко, почти крича:

— Весь город — наши дети, наши матери и наши жены полны искренней благодарности вам, господин директор. Когда вы будете покидать наш город, то вслед за вами потекут реки наших слез. Но где бы вы ни пребывали, память о вас останется в наших сердцах. Да хранит вас всевышний своей милостью на благо обществу многая и многая лета!

Речь эта очень понравилась Мицьку, и он пошел похвалиться к своей хозяйке, пани Антоновой. У него был один недостаток: он не умел держать язык за зубами — все услышанное рассказывал первому встречному, хотя и клялся никому об этом не говорить. Поэтому весь город сразу узнавал то, что ему кто-то доверил по секрету.

— Слушайте, пани Антонова,— обратился Мицько к хозяйке,— какую я произнесу речь. Станьте вот здесь: вы как будто директор, а я обращаюсь к вам с речью.

Хозяйка из любопытства исполнила его просьбу: подняла с кресла свое тучное тело и стала посреди комнаты. И снова Мицько положил правую руку на сердце, повел глазами и, крича во весь голос, начал:

— Весь город — наши дети, наши матери и наши жены...

Мицько громко произнес всю речь до конца, а хозяйка покачивала седой головой, улыбалась и трясла своим важным, тучным телом; а по окончании так сказала:

— Ах, если бы вы слышали (но вас тогда здесь еще не было), если б вы послушали, какую речь произнес мой покойный муж Травчуку, когда его избрали бурго-

мистром. Такую речь редко кому приходилось слышать! Когда покойный муж произносил ее, то несколько раз ударял кулаком по столу, да еще топал ногой. Не всякий сможет так потрафить.

— Но как же вам понравилась моя речь, пани Антонова?

— Очень хороша.

— Правда? — обрадовался Мицько. — А Болотневич совсем осудил мою речь.

Хозяйка рассердилась:

— Что вы слушаете Болотневича?! Да это ж дурак! Прощелыга! Он столовался у меня два месяца и задолжал мне три кроны. Но я, ей-богу, привлеку его к суду!

— Только, пани Антонова, не говорите никому о проводах директора, это тайна.

Хозяйка словно обиделась:

— Ну что вы говорите! У меня так: что ни услышу, никому не скажу, хоть бы меня на огне жгли. Неужели вы меня не знаете?

Ну как же Мицьку не знать своей хозяйки? Он знал, что она не выдержит и тотчас побежит в город рассказывать знакомым все, о чем слышала. Мицько знал это очень хорошо, но все же не мог утерпеть и продолжал свое:

— Прощальный вечер состоится через неделю, считая от сегодняшнего дня. Будет водка, закуска, ужин и бочка пива. Болотневич разучил с хоров новые — «Многая лета», с речью перед директором выступят маленькая дочка священника и я.

Теперь хозяйка отправилась выдавать тайну. Да и Мицько сделал то же самое. В городах нашего края очень скучно. Пусть добрый человек скажет, что же остается делать чиновникам, учителям и их женам? Со службы домой, из дома на службу, и все одно и то же, одно и то же, одно и то же. И так день за днем, всю жизнь. Слава богу, если подвернется такое, что можно поведать другому. Это объединяет всех и заставляет помнить, что люди могут общаться между собой.

Итак, Мицько побежал к кузнецу, своему дяде. Кузнец работал в кузнице; туда и пришел Мицько. Рассказал кузнецу о проводах директора и произнес свою речь. Но должен был повторить ее, потому что кузнец из-за работы не все расслышал.

В кузнице был ученик-меходуй, что раздувал кузнечные мехи, оборванный и черный, как цыган, только зубы блестя. Он с любопытством выслушал эту речь и запомнил ее слово в слово, потому что у него была замечательная память.

В воскресенье он стоял у церкви, дожидаясь директора. Босой, оборванный, черный; в засаленную шапку с козырьком он воткнул павлинье перо. Встретиться с ним в полночь под мостом, умер бы от страха: словно чертенок в болоте. Когда директор вышел из церкви, меходуй поднял обе руки вверх и заверещал так, что в ушах затрещало:

— Весь город — наши дети, наши матери и наши жены полны большой благодарности вам, господин директор!

А директор от стыда не знал, куда деваться: худенький, сутулый, заторопился мелкими шажками вдоль стены, чтоб где-то скрыться от напасти. Но меходуй бежал, как пес, по пятам и не замолчал до тех пор, пока не докричал до конца всю речь Мицька.

Вот как узнал господин директор, что товарищи и друзья устраивают ему проводы и с какой речью Мицько обратится к нему.

II

В четверг вечером провожали пана директора.

Очень это неприятная оказия, когда тебя на людях ругают и позорят. Все переглядываются, посмеиваются, а ты красней и огрызайся как хочешь. Но бывает оказия и похуже, когда тебя на людях хвалят, а хвалить-то и не за что. Здесь уж и огрызаться не можешь: должен слушать, краснеть и потеть. Ты знаешь, что у тебя за спиной каждый над тобой смеется, но ты должен молчать, а после еще и благодарить. Стоишь как на позорище, а на душе так, словно тебя публично секут.

Вот точно так было на душе и у пана директора, когда он стоял посреди большой, хорошо убранной комнаты и дожидался, когда его начнут хвалить. Стоял — как обвиняемый, который уже свyksя с мыслью о наказании. Перед ним, словно цветочки мака, красовались его ученицы, а за ними черной стеной стояли мужчины. Пан директор смотрел на празднично одетых людей, и ему казалось, что он видит перед собой трех злейших врагов.

Первый враг — это (как казалось пану директору) маленькая девочка в красной юбочке. Когда ее учил директор, она очень боялась его, а теперь наоборот: директор боялся девочки, потому что она должна была обратиться к нему с речью и преподнести подарок от учениц. Директор уже видел подарок: это был красивый альбом.

Второй враг — учитель Мицько, который должен был выступить с речью перед директором от имени учителей. Директор очень боялся его, ожидая, что во время речи Мицька кто-нибудь обязательно засмеется, ибо все уже знали содержание речи.

Третьим врагом в глазах директора был почтовый чиновник Болотневич: он руководил хором, разучил «Многая лета» на новую мелодию и должен был исполнить сразу после слов Мицька: «Да хранит вас всевышний своей милостью на благо общества многая и многая лета!»

Директору казалось, что каждый звук этих «Многая лета» будет для него словно камень в голову. Он сам пел и знал, что петь в хоре с другими невелика мудрость, но стоять в стороне и выслушивать пение, да притом не зная, куда девать руки, как держать голову и что делать с ногами, это — неприятно.

И стоял пан директор, опустив голову, худенький, маленький. Глаза его бегали, он долго не мог ни на ком задержать взгляда и все время краснел. Смирный, словно овечка, он как будто просил прощения: «Чем я провинился, чего вы хотите от меня?»

Но ему все-таки не прощали.

Первой выступила девочка в красной юбочке и произнесла тихо дрожащим голосом:

— Глубокоуважаемый пане директор! Никто не в силах выразить того сожаления, которое чувствуют наши сердца по поводу вашего отъезда. Мы завидуем тем нашим подругам, что будут слушать ваши умные наставления и радоваться вашей добросердечной опеке. Примите, дорогой наш пане директор, этот скромный подарок на память от благодарных учениц!

С этими словами девочка поднесла ему прекрасный альбом. Пан директор принял подарок, растрогался, смутился и чуть не заплакал. Собирался ответить ласковыми словами на речь девочки и начал так:

— По правде говоря, не знаю, чем я заслужил такое...— но не окончил; заскрипели двери, и Болотневич, который стоял с края, шепнул:

— Пан староста пришли.

Пан директор замолчал и побледнел, и все так испугались, словно среди них не староста, а сам дьявол из преисподней.

Появись староста среди учителей и чиновников с палкой в руках и ударь он одного из них по голове, другого по спине, третьего в ухо либо еще куда, тогда все бы закричали, сбились в кучу, и страх пропал бы. А беда в том, что староста не бил; только смотрел и видел, слушал и слышал, говорил и понимал.

Стоит старосте на панка взглянуть, а у панка кровь в жилах стынет: а ну как, думает, увидит он во мне такое, что не подобает. Слушает староста панка, а панок весь дрожит, боится, как бы не сказать, чего не следует. Обратится староста к панку, у панка душа в пятки,— а вдруг не поймет толком слов старосты и не будет знать, что ответить.

Поэтому все так перепугались, и никто не знал, что делать. Страх был велик еще и потому, что никто не ждал, что староста явится на прощальный вечер. Только дети не боялись: спокойно смотрели на высокого пана старосту и удивлялись, почему их директор так побледнел. Дети-то еще не знали, что значит староста.

III

А староста, высокий, чуть ли не до потолка, стоял в дверях и на всех смотрел сверху сквозь очки: хотел убедиться, не помешает ли речам, если скажет: «Добрый вечер панам!» В теплой комнате очки запотели, и староста ничего не видел. Он поднял руку, чтоб снять очки и протереть.

От этого у всех пробежали мурашки по спине, точно староста не очки снимал, а замахнулся длинным кнутом над их головами. Вдруг все опомнились и бросились, обгоняя друг друга, навстречу старосте, чтоб предстать перед ним. Первым подбежал бургомистр Травчук и сказал, низко кланяясь:

— Мое почтение пану старосте. Нам очень лестно, очень приятно...

— Видеть пана старосту среди нас, особенно при нынешнем, столь значительном торжестве.

Это уж добавил за бургомистра смиренный Болотневич. А пан директор, оставив девочку, предстал перед старостой с альбомом под мышкой. Наклонив голову, подходил робко, как должник, и оправдывался такими словами:

— Действительно, не знаю, чем я заслужил, что пан староста соблаговолили явиться. Я почитаю это за необычайную честь.

Слезы благодарности, которые пан директор готовился пролить перед детьми, закапали из глаз перед старостой и мешали директору говорить. Ему было очень неловко, и он ужасно мучился.

Выручил его Мицько.

— И мы,— крикнул Мицько декламаторским тоном,— и мы благодарим пана старосту за честь.

И сколь громко начал Мицько, столь же громко и закончил.

Но вокруг него стало еще тише. Мицько понял, что это беда. Он был очень сообразительным и ловким, хотя больше всех боялся старосты. Подумал только минутку, коротенькую минутку — и лицо его вдруг просияло.

— Весь город,— заговорил радостно Мицько, прижав к сердцу правую руку, и обвел всех глазами,— весь город — наши дети, наши матери и наши жены полны большой благодарности вам, глубокоуважаемый пане староста! Если бы вам пришлось покинуть наш город, то за вами вслед потекли бы реки наших слез. Но где бы вы ни были, память о вас останется в наших сердцах. Да хранит вас милостью своей господь всевышний на благо общества многая и многая лета!

После этих слов на весь дом громко прозвучало «Многая лета» на новую мелодию. Все как будто ждали, что приветствие пана старосты должно так закончиться, и словно радовались, что Мицько был настолько сообразителен и повернул дело так, как следовало бы.

Начали петь басы и тенора, не слышны были только сопрано и альты. Поэтому Болотневич весь как-то сжался, морщил лицо и размахивал руками, чтоб привлечь внимание удивленных девочек, которые сами не догадались влиться в пение своими тоненькими голосками. Ясно: дети не понимали, что значит староста.

Пан директор, всегда певший в хоре вторым тенором, не знал новой мелодии этих «Многая лета», не бывая на спевках. Но ему, однако же, казалось теперь, что он непременно должен петь, а не то очень провинится перед старостой. И начал петь. Но у него явно не ладилось. Поэтому Болотневич окрысился и сердито шепнул:

— Не фальшивьте!

Пан директор смутился, перепугался—и сразу умолк; но немного спустя присоединился ко вторым басам, и когда попадал в тон, то орал во всю глотку.

Только альбом не давал ему покоя. Директор держал его в руках, словно раскаленные угли, не зная, что с ним делать: то ли отдать старосте, то ли вернуть девочкам. Но ему и в голову не пришло, что альбом можно оставить себе.

Как выслушал пан староста это приветствие и что он потом говорил тем, которые пели ему «Многая лета» на новую мелодию, никому не ведомо, ибо как ни болтлив Мицько, но и тот молчал как могила и не сказал никому об этом ни словечка.

ГРЕШНИЦА

— Я уже не переживу этой осени. Как начнется осеннее ненастье — тут и задушит меня. Правду мне говорила баба Палагна: «Раз, говорит, половина у тебя в середке оборвалась, — так нечего и надеяться. Вот, вот, говорит, и кончишься». Чистую она мне правду сказала.

Я умру осенью, в самую слякоть. Головушка бедная! Как же вы хоронить меня будете, когда так раскиснет! Тогда ж и босой ноги не вытянешь из грязи, а не то что тащить гроб с грешным телом.

Да и не узнает никто, когда я умру; уж я это верно чую. Задушит меня ночью! Как утренник ударит, как темень разойдется — тут я глаза и закачу! Без свечки помру, только перекреститься успею. Пускай бог примет и так! Не заслужила я лучшего. Видно, мне господь милосердный еще и на этом свете каяться присудил. Ох, и грешница я, грешница!

— А ты, Аничка, не впадай в тоску. Палагна же говорила, что если будешь тосковать, то не поправишься. Ты должна быть веселая, тогда и полегчает тебе.

— Не мешай мне, Андрийко, дай выскажу все. Я тебе никогда всего не говорила, а теперь обязана. Обязана сказать все, а то как промолчу — так, сдается, оборвется во мне и другая половина, и тогда я и ночи не продержусь. А еще когда и пан-отец мне сегодня на исповеди объяснили, как я тяжко нагрешила, — так я и самой себя боюсь. Должна я признаться и попросить у тебя прощения.

— К чему тебе рассказывать и мучить себя, когда я все знаю?

— Нет! Ты ничего, Андрийко, не знаешь. Ты не знаешь, что я воровка. Я украла у Варвары полмотка пряжи.

Она проходила мимо наших ворот и потеряла, а я схватила и спрятала в сундук. Пан-отец сказали, что это воровство.

— Что пан-отец знает?! Пускай бы не теряла! А ты у меня самая лучшая хозяйка в селе.

— Но когда я помру, Андрийко, пряжу надо вернуть, а то говорили пан-отец, что из-за нее и на том свете я не буду иметь покоя!

— Ты мне не толкуй про смерть, Аничка. Я не хочу об этом и слушать. Какая мне цена без тебя? Оттого только, что ты всему голова, я и стал порядочным хозяином. А теперь, видишь, я без тебя и ума не приложу, что мне делать. Выйду во двор, кручусь, верчусь, а работа из рук валится, — потому как я не знаю, за какую работу приниматься. Да и вижу, что все нашим трудом нажитое прахом идет. Не раз, бывало, заломлю я руки, да и думаю: на ком я женюсь, как Аничка умрет? Нету, ей-богу, нету во всем селе ни одной такой хозяйки, как ты! Ведь ты, бывало, выйдешь во двор, за что ни возьмешься — работа у тебя в руках так и горит. Наладишь, приставишь и меня к делу, — и я тоже работаю. А если худо, так ты накричишь на меня или за чуб оттакаешь — и хорошо: и польза есть от работы и знак. А я тогда и думаю про себя: «Пускай таскает, потому есть за что. Благослови бог ее рученьки!» За это я тебя очень любил и теперь люблю.

— Не говори так, Андрийко, не разрывай мне сердца, я не стою того, чтоб ты меня любил. Я не стою даже одного твоего доброго слова. Я же душегубка! Это я загнала Иваниху в гроб. Правда, добил ее Иван, но я была всему причиной. Покойница хорошо знала, что он ходит ко мне; все тосковала, тосковала да по темным углам плакалась. Стала она его потом попрекать, а он — драться. И пошла у них с той поры грызня. Из-за этого покойница и сошла в могилу.

— А почему покойница была такая дура, что ссорилась? Ты, Аничка, ей-богу, в горячке такое говоришь! Кабы ты была здорова, тебе это и в голову б не приходило: ты понимала б, что не о чем тут печалиться, не о чем и думать. А как ты в горячке — то принимаешь всякую чепуху близко к сердцу и волнуешься. Успокойся, Аничка!

— Не успокаивай меня, Андрийко, ты еще мало знаешь, еще не все. Ведь я... Да ты мне лучше раньше



в глаза наплюй (так мне и следует!), а потом слушай. Я тебя никогда не любила, да и теперь не люблю.

— У тебя, ей-богу, Аничка, жар! Что ты говоришь? Опомнись! Да ты ж на меня работала, да ты ж меня хозяйном сделала, да ты ж мне белье стирала, ты ж мне каждую субботу голову мыла, ты мне вкусную еду варила. Что с тобой такое?

— Андрийко, ты все еще не понял, к чему я веду. Я люблю Ивана. Я смотрела на него как на икону. Без

него мне ничто не было мило. Я рвалась к работе лишь для того, чтоб заглушить ту боль, которая мне к сердцу подступала и грызла меня, до той поры грызла, пока я, бывало, Ивана не увижу. И он меня тоже так любил и так же без меня маялся. А ты этого не знаешь.

— Почему ж бы мне не знать? Что с тобой такое, Аничка? Может, смочить платочек и приложить к голове, а то тебя, верно, очень жар донимает. Не знаю! Да разве ж я слепой? Я видел, что у меня жена очень красивая: есть с кем в воскресенье на люди показаться! Не одного будто иголками кололо, что у него жена не так хороша.

— погоди, Андрийко, мне даже страшно, что ты меня не понимаешь, — потому как не хочешь верить, что я такая. Я тебя выпроваживала из дому, и тогда приходил ко мне Иван. Мы сажались за хатой на завалинке, и я клала ему голову на плечо. А он одной рукой обнимал меня, а другой гладил по лицу. «Отчего ты не моя жена?» — говорил он мне всегда, а я слушала и не могла наслушаться. А теперь делай со мной что хочешь, ты уже все знаешь.

— Знал я это, и давно уже, да думал: «Ага, видишь, богатеи, ты таки мне, бедняку, завидуешь! Да и богатству твоему грош цена, раз у тебя нету хозяйки. Какой ты меж людей пышный да важный и какой маленький рядом с моей Аничкой! А я хоть и не видный, а все равно Аничка моя, и ее голова дает лад моему хозяйству».

— Нет, ты таки, Андрийко, взялся меня мучить! А ты что, не знаешь, до чего эта любовь доводит? Я с Иваном — мы оба — льнули друг к дружке. Летом я укладывала тебя спать в хате, а сама уходила в ригу и поджидала Ивана. Теперь ты уже знаешь, какая я, и кем я была для тебя, и отчего так мучаюсь?

— Что с тобой такое, Аничка? Ты меня ребенком считаешь? Хватало и мне того добра — кабы столько ж чего другого! Ты женщина статная, в тебе кровь играла. А мне какая обида, раз ты стелила мне в хате так мягонько, что я спал, ровно после купели? Да постыдись такое и припоминать! К чему оно? Это ты в горячке лежишь и сама себе что-то придумываешь, и оно тебя вконец заморочило. Выздоровеешь — сама ж будешь над собой смеяться. А тут еще пан-отец... Чем выбить эту дурь у тебя из головы — он сам, невесть какого черта,

только еще больше тебя взбаламутил! Ему сдается, что у всех, как у него, — ничего другого на уме нет, как только одно это.

— Может статься, Андрийко, что я от жара такое говорю и оттого еще, что меня пан-отец так настрашал. А все-таки... разве я знаю... Нет! Я шлюха! Возьми камень и трахни меня по лбу, чтоб мне вот тут сразу и ноги протянуть! Ой, ой! Трое малых деточек: два мальчика и девочка, — а я, ей-богу, не знаю, кто им отец: ты или Иван? Головушка несчастная, долюшка моя горькая! Что я деточкам скажу, когда они подрастут?! Как я им в глаза смотреть буду?! Ой, ой, ой!

— Да замолчи, Аничка! Ну, не плачь!.. А пусть бы тому попу хворь прикинулась! Не мог он к своей толстой попадье привязаться, а мне вот взял да перепугал больную жену! Аничка, перестань! Образумься! Что ты такое выдумываешь? Кто ж наших деточек кормит, как не я? Кого же они слушаются? Меня слушаются. Чью скотину пасти будут? Мою. На кого работать станут, как не на меня? Я их поженю, я им землю после себя оставляю, и они же меня похоронят. Значит, я и отец им. А ты, Аничка, все сворачиваешь на пустое. Стыдись!

— Да я же клятву нарушила! Я клялась быть тебе верной, а с Иваном слюбилась. Ой, господи, милый! Земля подо мной горит!

— А чтоб у этого попа язык отнялся, коль он такое тебе наговорил! Да это же еретик какой-то, а не поп! Постой, постой! Уж пойду я к нему да спрошу: «Ты, мол, требуешь клятвы при венчании в святой церкви на эти глупости, или ты требуешь клятвы для того, чтоб люди в согласии жили, друг о друге заботились, трудились ради хлеба насущного, детей на ум наставляли и бога славили, белый свет покидая? Говори! Чтоб я знал, какой ты веры». Так я попа спрошу, чтоб он знал в следующий раз, как мне жену страшать! Аничка! Образумься же, потому как это тебе не на пользу. На, возьми платочек, обвяжи себе голову, пусть от тебя жар оттянет. Ну, как? Сейчас легче станет.

— Да я, Андрийко, уже сама понимаю, только мне очень тяжело. Ничего мне так не жалко, как тех денег, что ты потратил на лекарства и знахаркам совсем попусту. Лучше бы одежонку какую справить детям.

— Вот это ты, Аничка, разумно говоришь. За это я

тебя хвалю. Но ты и то возьми в толк, что ты самая лучшая хозяйка в селе: мы выбились в люди из ничего, — а все твоими стараниями. Вот я и рассчитал, что на тебя не жалко потратиться, потому ты, как выздоровеешь, все отработаешь. Ты, голубушка, стоишь расходов. Я тебя сильно люблю и не пожалею ничего, лишь бы тебе здоровье вернуть. Ох! Да я бы руки на себя наложил, кабы после твоей смерти подумал, что тебе на лечение пожалел. А вдруг бы помогло? Ведь я знаю, что без тебя пойдут прахом все хозяйство, да и такой другой хозяйки я нигде не найду. Старайся же, Аничка, чтоб тебе полегчало. Выкинь эти пустяки из головы. Ты себе лежи как барыня и проси всего, чего захочешь, только не тоскуй, потому как это во вред твоему здоровью. А я тебе все готовое буду в руки подавать, хоть бы ты и птичьего молока пожелала, Аничка! А ну-ка, посмотри весело на меня! Не будешь больше тосковать?

— Не буду.

НАРОДНАЯ ОДЕЖДА

Пожалуй, миллиона два наберется в нашем краю таких людей, что одеваются по-крестьянски? А то поди и больше! Стоит вам пойти в базарный день в город, и вы воочию убедитесь, что суконные теплые платья, расшитые шнурами, так называемые сардаки, армяки, епанчи, крытые овчинные тулупы, сермяги, холщовики, свитки, суконные полукафтаны без талии, со стоячим воротником, меховые безрукавки и кожаные всевозможного покроя половодьем наводнили и еврейскую и немецкую одежду. Как по весне к цветам, а зимой к снегу, так привык глаз к народной одежде. Казалось бы, так оно и следовало.

А вот на меня воззрились все, словно на невидаль какую, когда я появился в ресторане одетый по-народному. Все посетители из-за столиков злобно на меня уставились. Совершенно так, как бы среди них появился черт!

Я один, а против меня столько врагов! Не удивительно, что у меня дух захватило от страха.

Вот уже правда, истинная правда, что беда никогда в одиночку не ходит: всегда в паре. Не успел я опомниться от одного испуга, а меня уж схватил другой. Не стыдясь, скажу: испугали меня полы моего сардака, которые вздыбились передо мною, как собачьи уши. Я заметил это в зеркале, висевшем на стене.

Не верите? Ибо не знаете: боязливее всех тот мужик, которому внушили, что все люди равны. Самый что ни на есть простой мужик считает себя ниже, но не хуже других. Про себя он почитает всех не мужиков за другую породу людей. Все равно — высокопоставленного чиновника или оборванного городского карманного ворешку. Эта порода людей будто бы только тем и зани-

мается, что сбивает каблуки на панели, подстерегая неосторожных и беспечных, чтоб любым путем сорвать с них деньги. Хоть на виду, хоть тайком: как кому под стать. Мужик им кланяется, не боясь. И если только держит мошну крепко в руках, то разговаривает с любым сиятельством.

Не так с нашим братом, которому хотелось бы стать таким же человеком, как и другие. Этакий рад бы вылезти из собственной шкуры. У него желание — каждому угодить, но и самому не стать посмешищем. В то же время он видит все препятствия, которые мешают ему сравняться с другими людьми.

Вот почему меня так взволновало, что я своей одеждой колю панам глаза. Я был бы рад, если б моя одежда в то время стала невидимкой. А она, сучья порода, еще и полы поднимает перед панами.

Эти подозрительные взгляды из-за столиков и вздыбленные полы моего сардака явно напоминали, что мне следует получить по шее за мой приход сюда. И так это меня взволновало, что я готов был у всех просить прощения: «Люди! Я в этом не повинен!»

И просил-таки. Подбежал кельнер, нахмуренный, злой, и потянулся ко мне рукой. Не то для того, чтоб обнять меня, не то, чтоб вышвырнуть. Я даже невольно качнулся в сторону.

— Вам что надо, отец? — закричал на меня.

Я с перепугу не знал, что ответить. Но он на это не обращает внимания, торопит меня — и всё тут.

Вот тогда я стал извиняться.

— Простите, пане! — обратился я, поклонившись так, что полы сардака отскочили назад. — Мне сказали пан Гнатковский, чтобы я их здесь подождал. Они сейчас сюда придут. Только их еще не видать!

Соврал, не долго думая, а что мне оставалось делать? Я в тот день нигде не видел пана Гнатковского. В ресторан пришел нарочно, чтоб застать его, заведомо зная, что он ходит сюда обедать.

— Так подождите! — сказал кельнер и торопливо отошел от меня.

Хорошо тебе говорить «подождите»! Но где я должен ждать? Здесь, у порога? Но у меня дрожат ноги, потому что посетители из-за столиков все поглядывают на меня, виновника, злыми глазами. Ничего больше не остается, как пятиться назад и бежать куда глаза глядят. Почему

пятиться? Чтоб какой-нибудь из этих грозных свидетелей не поймал сзади за сардак. А почему куда глаза глядят? Да так удобнее удирать.

Но заметил я слева печку, а в углу над ней паутину. И потемней там. Э-э! Ведь эта паутина точь-в-точь как у меня в конюшне! Вот куда бы мне!

Иду, словно к знакомому. Тихонечко, на цыпочках, продвигаюсь между столиками, зашел в уголок — шашть, — и уже сижу. Здесь меня не так легко заметить! Однако присаживаюсь на самый краешек кресла, а то ну как войдет кто и влепит оплеуху: «Мало тебе, свитка, что спряталась от людских глаз, так ты еще развалилась в креслах?!»

До сих пор я не обращал внимания, кто эти посетители, которые меня разглядывали. Я их видел как отражение на воде, когда она покрывается рябью от ветра. Теперь же я, спрятавшись за печкой, решился хоть одним глазком посмотреть на людей.

Вот неподалеку от меня сидят два попа, еще молодые. По ним видно, что всю эту ночь они оба не спали. Только эта бессонная ночь на каждого из них по-разному повлияла. Ибо один из них красный, как жар, а другой бледный, как стена. Краснорожий опустил голову над стаканом и лишь изредка бросал словечко, словно нехотя. Зато бледный говорил без умолку.

Хоть и говорили они тихо, но я слышал каждое их словечко. Так сильно обострился тогда мой слух, что, сдается, услышал бы даже, как трава растет. Я догадывался, о чем они говорят.

Ни о чем другом, только обо мне: зачем я сюда пришел?!

— Стакан пива не дадут выпить — и тут найдет тебя мужик! Потом разнесет слух, что попы пьянствуют!

Так сетовал бледный. А краснорожий бубнил под нос:

— Пойдем! — Постучал о столик, моргнул проходящему кельнеру и обратился охрипшим голосом: — Получите!

«Может, удрать?» — промелькнуло у меня в голове. И, наверно, удрал бы, если бы около печки была открыта дверь. А так что-то меня удерживало. Словно прирос к креслу. Сижу, боязно мне, гляжу на них и стараюсь не пропускать мимо ушей ни единого слова.

Слышу, как кельнер удивляется, что они так скоро

уходят. Вижу, как бледный попик кивнул головой в мою сторону и наклонился через стол к кельнеру, — очевидно, намереваясь считать меня виновником своего бегства.

Опустил я голову: подставляю по доброй воле под наказание. Так вол подставляет шею под ярмо.

Но краснорожий не дал обвинить меня. Вскочил с кресла, махнул рукой и процедил сквозь зубы бледному:

— Успокойся!

Когда уходили, то краснорожий шагал тяжелой походкой, точно медведь, бледный же увивался около него лисой; а я думал: «Ого! Уже двоих выгнал! А что теперь будет?»

Однако не случилось того, чего я больше всего боялся: кельнер не подбежал ко мне и не показал кулаком в шею, где двери. И за то слава богу, хотя знаю, что ты, кельнер, поступаешь так не из уважения ко мне, а из уважения к пану Гнатковскому. Много он для тебя значит! Хоть бы поскорей появился он на вашем пороге и освободил меня из этой западни. А то, гляди, какую терплю муку!

Однако дождался: вижу, пан Гнатковский идет. Не перекрестился я, потому что не знаю, прилично ли и можно ли здесь креститься, но все же вздохнул, искренне возблагодарив бога. Знаю издавна пана Гнатковского как патриота, а сейчас еще и как своего благодетеля, потому что идет он прямо ко мне. Ступает легонько, растопыривает как-то пальцы на руках, щурит глаза: видимо, узнает меня.

Но вдруг! Гм... что это? Не успев и слова сказать, он остановился. Постоял мгновение, повернулся на каблуках в сторону и направился прямехонько к столику, за которым только что сидели попы.

Бедная моя головушка!

Но все равно: хоть сквозь землю провались, но я от тебя не отстану.

Моя покойная мама не раз рассказывала, что на всю жизнь она запомнила страшную засуху. Все роднички, все речки и ручейки повысыхали в поле. Совершенно все, начисто! Трусливые зайчата бежали в село, на скотные дворы, и лезли в бадейки, в корыта, чтоб хоть немножко испить водицы. На глазах у людей, среди дня — в самый полдень! Вот с такой же самой отвагой бросился я за

паном Гнатковским. Не успел он сесть, как я уже был около него.

— Я к вам, пане!

Пан Гнатковский сначала вытарашил глаза и отступил на шаг, а потом спросил:

— Ко мне?

Это он произнес, а глазами добавил: «Не было у тебя другого места для встречи, как тут?» В его глазах я прочел этот ответ и продолжаю:

— Нигде не мог вас встретить.

— Какое ж у вас ко мне дело? — спрашивает он меня так, точно мы только что познакомились.

«Ну, погоди! — думаю. — Коль я отважился на одно, так отважусь и на другое».

— Пожалуйста, садитесь, — говорю, — пане!

Прошу его располагаться, как у себя дома. Только мы уселись, подбегает кельнер.

— Подайте этому хозяину стакан пива! — говорит пан Гнатковский.

Опять вспомнилась мне покойная мама. Бывало, наказывала, чтоб я вел себя почтительно, а то из меня не получится хозяина. И так научила уважать это слово «хозяин», что и поныне, как только услышу его, сразу представляю себе личность честную и достойную. А теперь не то. Теперь в моем воображении встает испуганный мужик в народной одежде, да еще и со вздыбленными полами.

Господи! А если б я когда-нибудь этак обратился к первому попавшемуся кельнеру: «Подайте этому адвокату пива, или этому учителю, или этому чиновнику». Наверно, не очень бы ладно получилось.

Пану Гнатковскому так по нутру пришлось мое дело, как мне его пиво. Хотя я и не думал о нем. Говорил только для того, чтобы казалось, что я своего добился.

Неоднократно я слышал от наших интеллигентов слова: «Я не стыжусь мужика!» И только теперь осознал до конца их подлинное значение. Если бы нечего было стыдиться, то никому бы и на ум не пришло хвалиться этим. Мы — *клеймёные*! А как же! Еще издали и не определишь по лицу, кто идет, а уже видишь клеймо: узнаешь по одежде, что это мужик.

Вспомнил я свою военную службу. На маневрах под одним городом мы догнали мужика, который вел козу. Подняли мы его на смех:

— Пане хозяин,— говорим,— а это ваша скотина? Мужик клянется душой и телом, что не его.

— Это,— говорит,— шинкарь, чтоб его холера забрала, подрядил меня пригнать ему на базар это горюшко. Мы делаем вид, что не верим. Болтаем всякую всячину. Один из нас, шутник, все донимает мужика:

— Как вы, дяденька,— говорит,— обращаетесь с ней? Или она вам заменяет корову, а может, и служит вместо жены?

Мужик бросил козу среди дороги, а сам скок через ров! Пошел полем! Отрекся от козы!

Не было ли на душе у пана Гнатковского так, как у того мужика с козой?

Размышлял я уже на дороге, когда вышел из ресторана, освободившись из своей западни. Не шел я, а удирал.

Не случайно говорится, что ударить можно не только палкой, но также и словом. А я был и словами бит, и своими собственными мыслями! Вот и удирал от этих побоев, куда ноги несли.

Остановился я только тогда, когда увидел перед собой здание суда. У меня и тут есть дело. Справлюсь, записан ли уже на меня надел земли, которую я купил. Вбежал я в суд с тем разгоном, который набрал еще по дороге. Открываю двери в комнату, где хранятся судебные списки недвижимого имущества. А двери как ударятся о какую-то чертовщину, даже стекла задребезжали. Я еще и опомниться не успел, а чиновник уже ругается. Пытаюсь оправдаться, что это неумышленно. Ничего не помогает: ругается, и только. Закрыв я двери, опустил голову, молча выслушиваю его брань. И вдруг над самой моей головой: трах! тарарах! Я даже присел от страха. Малость погода оглядываюсь: стоит за мной какой-то панок. С ним приключилось то же, что и со мной. Однако чиновник не ругает его, только выбежал из-за своего стола и удивляется, что это такое случилось с дверью.

— Ах, уж этот мне курьер,— сетует он,— передвинул шкаф под самую дверь.

Просит извинения у панка за недосмотр курьера, за то, что напрасно испугали его. Теперь уж я, до этих пор никем не замеченный, начинаю рассказывать о своем деле. Как бы намекаю этим чиновнику, что уж коли я, несчастный, претерпел столько оскорблений, пусть

догадается и допустит меня хлопотать по моему делу.

А он так догадался, что показывает на меня пальцем, а панку говорит:

— Вы только подумайте, пане, что у меня общего с этими людьми? Как наступит базарный день, не закрываются двери за ними. А все потому,— говорит,— что в нашу канцелярию им ближе: первые двери в коридоре. Ступай, человек, и спроси у того, кто тебе договор составлял. Коль скоро прошение подано, то уж дело будет как-нибудь улажено.

Поклонился я, поблагодарил за совет и пошел. Хоть на сердце и тяжело, однако так решаю: «Может, это и правильно. Адвокат обязан сказать, ему же заплачено. Отсюда недалеко; пойду!»

Наученный недавним опытом, в канцелярию адвоката открываю двери тихонько. Скрипят, как сломанная сухая ветка в бурю. Не успел открыть их еще и наполовину, а на меня уж смотрит сам адвокат. Скорчил рожу, как среда на пятницу. А потом, господи, как рванет дверь к себе! Чуть-чуть не запахал я носом об пол. Ничего не скажешь, в чужом доме и щепка бьет. А он жалуются и на базарный день, и на мужиков, что не способны научиться даже двери открывать.

Когда он успокоился, говорю ему о причине моего прихода. Куда там! Воротит нос, как от чемерицы, прыгает передо мной, как воробышек, аж животик трясется. То ли просит, то ли ругает:

— Люди добрые, помилуйте! Да у меня базарный день. Где же я найду сейчас время разыскивать бумаги? Коль скоро вы составляли у меня договор, он не пропадет!

Вышел я и отсюда растерянный. Но теперь уж злостьхватила меня за сердце. «Черт бы тебя побрал! — думаю.— Теперь уж я знаю, почему порой мужик поступает иногда по-свински. Как свалится на него одна-другая беда, глядишь — он потом ополчится и на невинного человека. Вот так бы случилось со мной сегодня. Если б такое на упрямого человека, который хотел бы настоять на своем, нажил бы он себе немало неприятностей. Во-первых, изматерил бы этих двух попики; во-вторых, поссорился бы с паном Гнатковским; в-третьих, изругал бы чиновника; а в-четвертых, оскорбил бы адвоката. Уж наверное какая-нибудь неприятность довела бы до ареста».

Но чья тут вина? Ничья, только мужика, потому что он отмечен, заклеен. У тебя нет клейма ни на рогах, ни на ушах, но ты носишь клеймо на своей одежде. Твоя одежда кричит каждому, что ты мужик. А мужиков слишком много на белом свете, нельзя с каждым нянчиться!

Я всегда был скорым на всякое решение и никогда не медлил выполнить его. Так поступил и теперь. Сбросить с себя, к собачьей матери, это клеймо!

Иду прямо к цирюльнику. И стыдно мне признаться, зачем я пришел. Начинаю петлять издалека: говорю, что я призван на военную службу.

— Стало быть, постричь? — догадался цирюльник.

— А что ж?

— Как, под машинку или ножницами?

— А чем дешевле?

— Под машинку.

— Стреги под машинку.

Зашипело у меня над головой: чик-чик вдоль, чик-чик поперек, — смотрю в зеркало, вместо кудрей вижу синюю тыкву. Встал я, отряхнулся, словно курица, что рылась в пыли, и иду дальше, в лавку готового платья.

Но и тут не признаюсь сразу, что мне надо. Говорю, что еду в Пруссию работать на фабрике. Не сразу угадал лавочник, на какой товар я покупатель.

Выторговал я костюм за десять крон, заплатил, сложил его на руку, иду домой. Мысленно представляю, что со мной будет. Если здесь, среди евреев, у меня не было смелости, то с каким лицом покажусь на глаза жене? Не погладит она меня по голове и не скажет: «Носи на здоровье, а из этого да в лучшее». А намылит мне она эту синюю тыкву, ой намылит!

Скажу ей, что пока народная одежда служит признаком мужика, до тех пор она будет отгонять попов от пива, пугать пана Гнатковского, надоедать чиновнику, отнимать много драгоценного времени у адвоката. Скажу ей: если не хочешь, чтоб кто-то оказывал тебе милость, говорил, что не стыдится тебя, то снимай с себя это клеймо! Скажу ей, что в нынешние времена селу без города не обойтись: а народная одежда не подпускает тебя к людям. Скажу ей, что в своей одежде мужик ничему не научится, ничего не подслушает, и всякий при виде клейменого затаится перед ним. Скажу ей... Да, я-то ей скажу, но поймет ли она меня? Фигу! Нигде баба не была, ничего не видала, — куда ей это понять? Нуж-

но будет перетерпеть брань, пока у бабы язык не заболит.

А как отнесутся ко мне мои соседи? Вот тут должна быть борьба: кто кого одолеет!.. То ли они меня, то ли я их! Если они меня, то стану я посмешищем в селе, а коли я их, то поднимусь на голову выше других!

Не ждал я добра, когда входил в свою хату, но не ждал и такой беды, на какую наскочил. Жена тут же назвала меня арестантом — и все потому, что стриженный был, — потом, заламывая руки, выскочила на улицу и стала созывать всех соседей посмотреть на сумасшедшего. Она где-то слыхала, что в больнице стригут.

Что ж мне оставалось делать? Разозлился я. А от злобы совсем рехнулся и признался, что еще и переоденусь. Это уже было слишком. Взяла моя бедняжка младшего ребенка на руки и ушла к тестю. Оставила меня ни с чем.

Жду день, жду другой, нет ее. Этакая напасть, что и спать не даст: не выдержал я, уступил. Иду к тестю, навожу тень на ясный день, чтоб помириться с женой.

— Так и так, — говорю, — о кудрях не горюй: отрастут. Тряпье это верну торговцу, потому что взял при условии: если не понравится, товар обратно ему, денежки — мне.

Дождался базарного дня, иду по своим делам. Переоделся у знакомого еврея тут же на окраине города, вычистил башмаки, чтоб блестели, прогуливаюсь по панели у стен. А тут, кого бы вы думали, встречаю первого из знакомых? Пана Гнатковского! Кланяюсь, узнает меня, подходит, протягивает руку.

— Что слышно?

— Благодарю, — отвечаю, — все в порядке!

— Для чего вы переоделись?



— Должен был,—говорю,—еду в Пруссию, а там никак нельзя по-простому.

— Жаль, жаль! — горюет пан Гнатковский.— А у вас такая чудесная одежда.

— Ничего не поделаешь, если надо! — говорю громко, а мысленно добавляю: «Если она тебе так понравилась, почему ж ты ее не носишь?»

У адвоката я хорошо устроил свое дело... но расскажу все по порядку.

Отворяю двери в канцелярию, опять адвокат выглядывает. Но теперь уже не захлопывает двери. Кланяется, ведет меня в третью комнату, приглашает сесть. Мне как-то даже неловко. Сажусь, говорю о своем деле. Вдруг мой адвокат соскакивает с кресла и бежит к писарям.

— Ищите договор!

А тем временем, чтоб мне не было скучно дожидаться, предлагает выкурить сигару. Хотя я к этому и не привык, но курю: надо ко всему приучаться.

Немного погодя писаря докладывают, что договор еще не подан. Эх! Адвокат мой не знает, как и выкрутиться. Дает честное слово, что сегодня же отправит договор в суд. Провожает меня через все три комнаты, по-праздничному, торжественно, еще мне и двери сам открывает в коридор.

А тут окружили меня три бабы, непременно хотят руку поцеловать.

— Оставьте! Успокойтесь! Что вам надо?

Бабы просят меня заступиться за них перед адвокатом, видя, что я с ним в хороших отношениях. Адвокат отказывается писать жалобу на их соседа, намереваясь защищать его против баб.

Жалко мне стало женщин: по себе знаю, сколько у них хлопот. Ищут в городе защиты от домашних напастей, а наживают себе десятки новых. Слоняются по канцеляриям, как слепые нищие, подпирают плечами стены в коридорах, боятся каждого прохожего, земно кланяются во все стороны, молча сносят всякую обиду. Ну, я обратился к ним:

— Деньги,—спрашиваю,—есть?

Вместо ответа бабы лезут за пазуху, вытаскивают платки, начинают развязывать узелочки. А пальцы у них дрожат, как в лихоманке.

— Да нет же,—говорю,—это не мне, а ему, адвокату.

Бабы в один голос, словно бы песню такую сложили:
— Ах господи! Да мы знаем, что панам нужно платить! Задаром ничего не сделаешь.

— Хорошо,— говорю,— идите за мной!

Отвел адвоката в сторону, объясняю ему:

— Плохо, пане, поступаете: у баб есть деньги! Наверно, из собинки, что скопили тайком от мужей про черный день. Заплатят, сколько назначите. А соседа их не бойтесь: не оставит вас. Коли будет у него другое дело, то из всех ног поспешит к вам, чтоб своего противника донять. Не обольщайтесь, что мужик верит в ваше искреннее отношение к нему: за свою жизнь у него было время научиться никому не верить и ничему не удивляться.

Помогло: адвокат просиял, как святой, от моих слов.

Бабы обрадовались, что благодаря мне уладили свое дело, просят выпить магарыч, так как я проводил их до самого рынка. Не находят слов благодарности. А одна из них сует мне под столиком деньги: целую крону. Беру!

Думаете, что от этого корчма рухнула и стены на меня упали? Нет! Если бы в тот момент я увидел полы моего сардака, что так испугали меня в ресторане, то, кажись, деньги эти огнем прожгли бы мне ладонь. А оказывается, я такой же, как и те, что с меня брали. Бабы сразу поняли, почему мне приличествует свободно брать. Одна из них обучала этому мужиков, сидевших невдалеке от нашей компании:

— Они очень добрый пан,— расхваливала меня,— и посоветовали и помогли. Пошли им бог здоровья, заступаются за народ, несмотря на то, говорит, что не нашей веры!

А как же! Перешел я из веры дающей в веру берущую.

Познакомили меня бабы с мужиками. Женит отец своего меньшого сына и по этому случаю делит свое хозяйство между всеми детьми.

Знаю, такому отцу хочется поплакать, ибо его охватывают и радость, и жалость. Не так жаль ему надела земли, как жаль, что наступило время, когда надо все имущество отдавать детям. А радость — что делает хозяином меньшого сына. И я касаюсь этих больных струн.

— Уважайте,— обращаюсь к сыновьям,— уважайте старика отца! Не растратил, не промотал, а нажил, да еще и вам передает.

Эх, а мой старик уже и глаза утирает.

— Слышишь, — внушает сыновьям, — слышишь, что пан говорят?!

Кончилось тем, что и они пригласили меня пойти с ними к нотариусу. Пошел. С писарями даже не разговариваю, прямо к нотариусу пру, в его кабинет. Хоть меня и останавливали, но я на это не обращаю внимания: знаю — клеймо с меня снято, выгнать меня не выгодно.

Опять заработал я крону за то, что был свидетелем, опять магарыч. А шинкарка уже узнает меня, подбивает старика:

— Берите вино; я знаю, какое этот пан любит!

А на прощанье сует мне конфетку.

— Это, — говорит, — вашим деточкам на здоровье! Только будьте добры, не обходите моего погребка!

Догадалась, что мне не в последний раз по таким выгодным делам хлопотать. Да и сам вижу, что нашел себе в городе прибежище, словно тут родился. Но все думаю, как бы мне свою жену дома умиротворить. Для детей у меня есть конфетки — так, а вот для их мамы куплю платок. Выбрал, сторговался, еще доложил к своему заработку (а что ж, за спокойствие стоит и заплатить), несу домой.

Только я дома снял сардак, жена начинает донимать:

— Дьявол лукавый! Ты опять принес эти тряпки? На ссору да на огорчение?!

— Я тебе, дьяволица, другое огорчение привез, — говорю, — и, не долго думая, раз ей в руки платок.

— А это что такое? — удивляется она.

— Это, — говорю, — подарок тебе от твоего дьявола лукавого.

Она еще хмурится, но вижу, что еле сдерживается от смеха.

— Что, — говорю, — уже засияло солнышко из-за тучи?

Она вроде еще не сдается и продолжает ругать:

— А ты, может, и дома собираешься ходить в этом тряпье?

Мы помирились: уступила она, уступил и я. Дома сдеваюсь по-прежнему, а когда в город иду, переодеваюсь.

С тех пор в базарный день меня дома не застанешь. Иду, бывало, в город, с собой ни гроша не беру, а в го-

роде наемся, напьюсь, да еще и денег принесу. Передо мной в городе никто не таится, потому что я уже не клейменный. И уже научился давать людям советы: знаю, кого повести к адвокату, кого к нотариусу, а кого и прямо к судебному писарю. И мне хорошо, и людям хорошо.

Правда, жена еще долго глядела на меня как на собаку. Однако пришел и ее черед — совсем подобрела. Случилось несчастье с кумом Илько. Приходит, жалуется:

— Так и так, дескать, чужим людям советы даете, а своим не хотите?

— Почему же,— говорю,— можно и своему! Только свой захочет задаром, а ведь, знаете, день дорого стоит.

— Задаром я не хочу,— говорит кум,— буду вам день землю пахать.

Только после этого случая поняла моя жена, что я из-за своих тряпок не опустился ниже, а наоборот: стал выше. Теперь одеваться по-городскому я мог и дома. Да и люди в селе привыкли к этому. Уже не удивлялись, глядя на мою одежду. Им, видимо, казалось, что все это произошло само собой, помимо меня. Как будто я облинял и оброс другой шерстью.

У людей вошло в привычку обращаться ко мне по любому делу. Покупает ли кто, продает ли, или детей женят — без меня не обходится. Что бы в селе ни случилось, обо всем я знаю. А почему? Все своими глазами видел и своими ушами слышал. Каждое дело знаю, потому что при каждом деле присутствую.

Поэтому я был на суде лучшим свидетелем. А мои свидетельские показания я никому даром не давал.

Правда, у нас нет такого обычая, чтобы свидетель был платный. Идти в свидетели — дело соседское. Однако ко мне это не относится. Так как я уже избавился от своего клейма, я уже не сосед, не кум,— одним словом, я переметнулся в другую веру. В моей вере все хлопоты платные. Как куколка, линяя, вылетает мотыльком, так и я.

Не стоит и вспоминать, что в селе сразу невзлюбили меня за такую перемену. Прозвали «Умником»: Павло Умник, и все тут! Разумеется, не в глаза. А мне хоть бы что! Сейчас вы посмеиваетесь над этим моим прозвищем, а придет время, сами будете произносить его с почтением.

Недолго пришлось ждать такого времени. Есть у нас в городе касса, что ссужает людям взаймы деньги. Я и в кассу пролез. Сначала только провожал тех, кто

не знал туда ходов, а потом, хорошенько познакомившись, принялся хлопотать за тех, кому отказывали в займе. А под конец додумался и до того, что давал поручительство за должников. Не так я додумался, как люди меня сами научили. Те, кому не давали займы, ко мне: «Поручитесь!» Я знаю, за кого стоит поручаться, а за кого нет. Ибо касса смотрит на то, сколько у должника земли. А я на это не смотрю. Я смотрю, сможет ли он уплатить этот долг. Если мужик крепкий, нестарый, а хотя бы и старый, но сыновья у него достойные, то бояться нечего: выплатит свой долг дочиста. Для некоторых я делал так: брал займы на свое имя, а им ссужал.

С этих я брал сколько хотел и что хотел. Уж если у мужика безвыходное положение, то он ничего не пожалеет. А тут еще учитывалось, что я подвергаюсь опасности платить за него.

А по нашим селам ныне знаете каково! Народу расплодилось великое множество, теснота страшная, каждый питается, но идет занимать, было б только где. В кассе дают по выбору, на всех денег не напасешься: хлопчут пятьдесят человек, а ссужают десятерых. Нужна протекция, чтоб тебе не отказали. А протекция в кассе у меня неплохая, потому что я принадлежу к наблюдательному совету. На общие собрания кассы мало кто приходит. Да и кому приходиться? Мужик рад бы ее пореже видеть: он только тогда спокоен, когда забывает, что состоит членом кассы. А я все заранее пронюхал, созвал на общее собрание должников, кого где поймал.

— Выбирайте,— говорю,— меня в наблюдательный совет; я стану следить за тем, чтоб не нажимали на взносы в тяжелую пору, и помогу всякому по мере сил.

Удалось! Кассир Гринько и директор Володко боятся меня пуще огня. Я знаю все их ухищрения, оба они ворюги. Гринько хоть и мужик из предместья, но переодетый. Вот, примерно, как я. Правда, клеймо мужика он с себя сбросил, но клеймо ворюги еще заметнее при новой одежде. Вы нарочно обратите внимание: он никогда не посмотрит вам в глаза, всегда вниз или в сторону. Боятся, что вы прочтете по глазам его настоящее прозвище: «ворюга»,— недаром говорится: кто украл поросенка, у того всегда в ушах визжит!

На то и хлеб на столе, чтоб от него резать; на то и кассир, чтоб брать деньги из кассы. Этак размышляя, Гринько и перевел все свое хозяйство на жену. Что ты

с ним сделаешь? Если найдут у него деньги, скажет — женины, а тюрьмы он не боится: отоспится там вволю.

Володко же — это настоящий интеллигент: ученый, и к тому же еще шляхтич. Мастер читать, писать и из горшков хватать. Этот тоже умеет свое клеймо прятать: краснобай, никому не даст слова молвить, переговорил бы, кажись, и осенний дождик. Отбрешется, соврет в глаза, не краснея, выскочит из неминуемой гибели. А хитер — на ходу подметки срежет!

И вот этот Володко придумал уловку, которая еще долго позволит ему верховодить: провел агитацию среди членов кассы, чтобы в наблюдательный совет выбрать одних мужиков. А для видимости разрешил ввести одного попа. Того бледненького, которого я видел с красно-рожим в ресторане, где так неудачно побывал. Мысль у него была такая: мужику не под силу подсчитать, есть в кассе недочет или нет. Да и попу одному тоже не справиться. И не ошибся: наблюдательный совет только для того и собирался, чтобы выслушивать его длинную-предлинную болтовню. И все-таки каждый член совета работает головой. Те, что покрепче, кивают головами, а кто послабее — ведут себя по-разному, это уж зависит от натуры. Один склоняет голову к стене, другой опирается головой о перила, с широко открытым ртом, а иной только клюет носом. Но все они до единого спят так крепко, что после заседания каждого надо изрядно потормозить, пока придет в себя.

Володке не хотелось видеть меня в членах совета, потому что я — «Умник». Побоялся, что я слишком много знаю о его проделках. Все же меня выбрали против его желания! Это все-таки не помешало Володке после выборов уверять меня, что если б не он, то я никогда на свете не был бы членом совета.

Вот почему, — как видите, — у меня есть большая протекция в кассе. За кого попрошу, тому уж наверняка не откажут. Под одно мое слово тысячи дают!

Я-то понимаю, что они оба — и Володко и Гринько, — если б могли, утопили бы меня в ложке воды. Как и я их. Но пока мы изображаем из себя приятелей; они считаются со мной. А я слова зря не бросаю, — стоит меня за это хорошенечко поблагодарить. Не одному помог вылезти из беды и хлопот.

Вот теперь вы видите, что мне всегда перепадает, если не с одной стороны, так с другой. Не ропщу: есть

на что жить. И все лишь благодаря вот этим тряпкам, что прикрывают мое грешное тело.

Может, скажете, что я и без того попал бы на эту самую дорожку? Оно правда, у кого голова с лукошко, а мозгов ни крошки, тому и архиерейские ризы не помогут. Но опять-таки даже самый мудрый молотильщик без цепа дураком будет. Ни один умный человек не пустит на свое гумно молотильщика без цепа, и меня без этих тряпок никуда бы не допустили. Будь ты хоть черт из болота, но надень такое тряпье — и перед тобой двери нараспашку! Обо мне всякий знает, да и я не таюсь, что я простой мужик. Но это никого не касается: не видят на мне клейма, и вход для меня всюду открыт.

Кое-кто считает меня настоящим интеллигентом, и на это опять-таки есть причина. Стоит послушать, какова она.

Интеллигентом меня назначили. Как? Так же, как в армии назначают старших, так и меня назначили интеллигентом. Сначала послушайте, а потом скажите, может ли быть так или нет!

Отними у вора немножко силы, так у него вместо этого ума прибавится. Вот так случилось и с Володко. Давно ходит слух, что Володко и Гринько обдирают нашу кассу, как молоденькую липку. И этот слух дошел до Львова, до той самой главной кассы, которая деньгами помогает всем мелким кассам. Оттуда и пришел к Володке приказ: чтобы в нашем наблюдательном совете, кроме попа, был еще один интеллигент, а если такового не будет, то уже нашей кассе во Львове ни на какой кредит надеяться нечего! Что ж делает Володко? Как вы думаете? Созывает наблюдательный совет и обращается к нам с тем самым умом, который у него прибавился:

— Зачем нам,— говорит,— далеко искать? Вот Павло Умник, ведь они интеллигент!

Наблюдательный совет кивает головами, а кое-кто уже вслух поддакивает:

— Правда, истинная правда: они уже, можно считать, не нашей веры!

— А коль скоро правда,— говорит Володко,— то подпишитесь под этой правдой!

Вот так я и получил назначение на интеллигента.

Но, кроме того, я еще сдал экзамен на интеллигента. Это тоже стоит послушать.

После заседания пригласил меня поп на стакан пи-

ва. Пошел с нашей компанией и тот, второй, краснорожий попик, и еще один учитель из Тупиц, такой худенький, с растрепанной бородкой. Как обычно, за пивом началась беседа. Больше всех говорили попы. Я только слушал, о чем они говорят, боясь, как бы из меня не выпер слишком уж глупый и простоватый мужик. Учитель робел перед попами еще больше меня. Но это только вначале, потом развязался язык и у меня, когда от выпитого ударило в голову.

Скоро начали попы на наш темный народ сетовать, он-де не понимает, кто ему враг, а кто друг, ни о чем не заботится, а только бы напиться, не желает просвещать свою глупую голову,— а я так умело обличал наших людей, что попы удивлялись, откуда я так хорошо узнал бедный народ этот. Однако это еще не был мой экзамен на интеллигента. Сперва пришлось изрядно попотеть от страха, пока этот экзамен выдержал.

Начали попы вспоминать те времена, когда учились в школе. Вот тут я испугался. А ну как спросят, какое у меня образование?! Я не окончил даже сельской школы: ходил три года, но после смерти отца бросил,— поступил на службу. И было не до того, чтобы кого-нибудь расспрашивать. Перебивая друг друга, каждый пытался рассказать о себе. Только один начнет, доведет до половины, другой и не слушает его, подстерегает, когда тому понадобится передохнуть. Тогда он тут же врывается в разговор. «Я, например... Мне однажды... Но погоди, что со мной было».

Вот и все, что можно было сначала понять. Но немного погодя, когда я хорошенько вслушался, то абсолютно понял все, о чем они говорили. Хвастались друг перед другом! Хвастались, что, будучи в школе, ничему не учились, ничего не знали, а умудрялись как-то обманывать учителей и переходить из класса в класс. Так увлеклись этими воспоминаниями, что, гляжу, и учитель тоже захотел говорить. Вытянул и без того длинную свою шею, поднял брови, захлопал глазами, закивал головой, словно давится. Вот так, примерно, мучается утка, когда схватит слишком большой кусок чего-нибудь сухого и не может проглотить.

— А я,— говорит,— тоже никогда ничего не знал.

«Это уж,— думаю,— хорошо: и я в такой школе мог бы учиться». Во-первых, я не учился; во-вторых, ничего не знал; в-третьих, забыл и остался таким, каким вы

меня видите. Это и придало мне смелости, и вскоре я стал сдавать экзамен!

Начали попы хвалиться, что ничего не читают: «И эта газета дрянная, и та дрянная, времени жалко!»

Ну и я похвалился, что ничего не читаю,— но малость соврал, так как получаю дешевую газету для мужиков. Гляжу, учитель-то снова вытянул шею и дивится. Но он теперь решил говорить не с попами, а со мной: надеялся, что я его не перебую, дам высказаться до конца.

— Я,— говорит,— получаю только одну газету: казенную, на школьные деньги. Но стану ли я такое невежество читать?

Попам понравилась такая манера беседы, они поддерживали ее. Повернулись оба ко мне и заговорили. Каждый из них дергал меня за полы, хватал за плечи, за руки, чтоб я слушал его, а не соседа. Особенно неугомонно говорил бледный попик и окончательно перекричал краснорожего.

— Я,— говорит,— наблюдаю за собой. Например, такая странная вещь: сырую капусту буду есть, а уж вареную не могу. И не могу себя заставить что-нибудь прочитать: у меня,— говорит,— какая-то книгоненависть. Я за собой постоянно наблюдаю! Я очень странный человек! Например, дома мне ничего не нравится. Уж как только жена мне ни угождает — все попусту. А в городе зайду в ресторан — все мне по вкусу. И вот таков я всегда,— ибо я за собой постоянно наблюдаю издавна, с тех пор как помню себя. А погоди-ка!.. Я изучаю себя. Было бы у меня терпение, давно бы записал эти наблюдения!

Потом сетовали на работника, что он дорогой и ленивый. Тут уж я считал себя умней других и тоже не давал никому слова сказать.

— Погодите, господа,— кричал я,— вы в этом плохо разбираетесь, так как не стоите над работником день-деньской!

Не очень-то хотелось им меня слушать. А я дергаю обоих за сутаны, а учителя так просто локтем в грудь толкнул. Пришлось-таки им слушать. Да ведь это сущая правда! Что только этот народ думает? Как только он может жить на свете? Вы ему платите как можно лучше, а он всегда недоволен. К работе относится легкомысленно, ей-богу, очень легкомысленно.

Экзамен удался. Мы заказали еще по стакану пива, чокнулись и расцеловались, как родные братья.

Потом я принялся экзаменовать их. Но у них не получилось так гладко, как у меня.

Начали мы играть в карты. К этому злу я пристрастился на военной службе, а в штатской жизни этим не занимался. Во-первых, не с кем и некогда играть, а во-вторых — у меня и денег нет на проигрыш. Тогда же, говоря по правде, я был малость подвыпивши и подумал: а ну как удался эта уловка!

Краснорожий поп совсем замолчал, а бледный стал еще болтливей. Учитель, пожалуй, и говорил бы, но не отваживался. А я что проиграл — недодал, а выиграл — забрал. Вот и вся моя уловка! Краснорожий не заметил, свесив голову над пивом, бледный же не мог наблюдать, неумолчно говоря о том, как он себя исследует, а робкий учитель, может, и подмечал, но боялся признаться.

Когда я их обчистил, то сделал вид, будто на минутку выхожу по естественной надобности, но уже, разумеется, не вернулся. То-то небось меня костили! Но вы думаете, что они не забыли? Забыли! В другой раз со мной встретились — ни слова не пикнули. Хорошие они люди; жаль мне, что так случилось. Но надо иметь в виду, что им деньги легче достаются, чем мне. Да и велика ли разница, берешь тогда, когда карта пришла или когда сам хочешь? Все равно не заработал, а взял даром.

Вот таким образом я очутился среди интеллигентов. Никто уже меня не стыдится, каждый с удовольствием выпьет со мной стакан пива. Я уже приспособился к их разговору. Немудреная штука, только привыкнуть надо. Вместо «трех» говорить «триех», вместо «свет» — «швет», вместо «вперед» — «фперед» и тому подобное. Иной раз забываюсь и жене так скажу. А она ругается:

— А иди ты,— говорит,— гундосый! Не погань мою хату такими словами!

Что дура-баба понимает?!

Многие бы хотели владеть таким ремеслом, как у меня, а все же мне и этого мало: в мыслях я иду дальше. В печенках засел мне этот Гринько, сил моих нет. Этаким ворюга, этаким ворюга, и он — подумайте только! — по сто крон в месяц жалованья получает! Ведь место кассира точно для меня и придумано: что ни день — на рассвете в город, сел за столик, выдал деньги и назад домой. Не думайте, я бы не пустился по тому скользкому пути, как Гринько, нет! Я бы не пошел по его следам, сохрани бог!

Гринько — глупый хам, свиное рыло. Дураку, как говорится, море по колено: он воображает, что этому никогда конца не будет, что всегда можно так зазнаваться. Точь-в-точь как свинья, что заберется в картошку. Что не съест — перероет, затопчет, опаскудит, не заботится о том, что завтра будет есть.

Может, прежде так и удавалось, и поныне о таких разбойниках поют. Зато в теперешние времена разбойника вздергивают на виселице. Теперь, братец, таким путем не заработаешь.

Я не тронул бы ни ломаного гроша! Да и зачем мне это трогать, когда люди сами дадут за услуги. В хату принесут! Правда, многие за это оговаривают меня за глаза: вишь, Павло Умник — мошенник, сельская пиявка! Вишь, кровь людскую пьет! Времена теперь такие: благодарности ни от кого не жди! Дурак рассуждает, сам не разумея о чем.

Ступай ищи у господ бога правды, зачем он так белый свет устроил, что без моей помощи не обойдешься?! Я тоже хлебнул немало всякого горя, пока ума набрался. Тебе обидно, что свой человек, патриот, тебе помогает? А если бы я тебе не помог, так ты наскочил бы на такого, который обобрал бы тебя до нитки. Тогда ты молчишь, а своему завидуешь! Я должен за это брать плату, потому что с этого живу: это мое ремесло. Я не такой, как тот староста из глухого села, что выманит у дурака пятерку и считает ее за краденую. Возьмет, пропьет, добавит еще и своих денег, а через несколько лет, гляди, он так опустился, что смотреть страшно! Другого обидел и сам ничем с того не попользовался. Я — нет! Я умею ценить каждый грошик.

Но все же, признаюсь, порой и меня за сердце хватает глупая мужицкая совесть: «Эх! — думаю иной раз ночью.— Многие тяжело работают, а детей прокормить нечем. А я хитростью с того же нищего несколько крон вытяну». Но недолго мучает совесть: быстро опомнюсь и всегда одолеваю ее.

«Отступись ты,— говорю,— от меня! Прочь, а не то по морде дам! Иль ты не видишь, что я перешел уже в другую веру, что стер с себя клеймо мужицкое? Иди ты под вздыбленные полы сардака, а от меня отцепись! Не я установил такой порядок на свете, и не я за него ответчик».

Но вы все-таки не думайте, что я из-за этого совсем

отрекаюсь от народной одежды. Нет, я патриот не хуже любого; я люблю свое родное. Вот недавно я купил сынишке Петрусю (ему три годика, чтоб ему быть здоровым!) вышитый киптарик, раскрашенную кожаную сумочку, шляпочку с павлиньим перышком. Нарядился сыночек, бегает по хате, каждый уголок веселит. Словно цветик в мае по быстрому ручейку плывет. Скажу вам: стены хаты улыбаются ребенку!

Порадуйся, говорю, сыночек, пока маленький, а то скоро вырастешь и станешь одеваться так же, как я.

А глупая баба опять свое:

— Я бы,— говорит,— не позволила так своего ребенка поганить.

А я ей, может уже в сотый раз, втолковываю:

— Замолчи ты, глупая! Я не враг своему ребенку: не хочу его клеймить, чтобы он потом костей моих не клял, что по моей вине не сможет никогда освободиться от мужицкого ярма. Не бойся! При жизни нашего Петруся народная одежда еще не исчезнет.

А вы, что ее так сильно любите и боитесь, как бы она не пропала, носите ее сами. Пожалуйста! Скоро это клеймо не будет унижительным для нас, и тогда перестанет одежда быть признаком несчастного мужика. Вот тогда я вернусь к ней.

1911—1914



СО Д Е Р Ж А Н И Е

Ф. Кривин. Лесь Мартович	3
Нечитальник. Перевод О. Назариева	15
Номера. Перевод П. Карабана	23
Иван Рыло. Перевод С. Крыжановского	39
Найденная рукопись об украинском крае. Перевод Г. Шипова	43
Мужицкая смерть. Перевод П. Карабана	49
За топливо. Перевод П. Карабана	84
За межу. Перевод П. Карабана	87
Хитрый Панько. Перевод Г. Шипова	92
Квитанция на пятерку. Перевод П. Карабана	102
Вот посюда мое! Перевод П. Карабана	110
Дурное дело. Перевод П. Карабана	133
Войт. Перевод П. Карабана	141
Смертельный случай. Перевод П. Карабана	150
Подарок Стрибога. Перевод Г. Шипова	159
Выродок. Перевод П. Карабана	174
Чай. Перевод М. Талова	179
Прощальный вечер. Перевод Г. Шипова	189
Грешница. Перевод П. Карабана	197
Народная одежда. Перевод Г. Шипова	203

Лесь Мартович

ПОДАРОК СТРИБОГА

Редактор С. Князева. Художественный редактор Г. Кудряцев.
Технический редактор Г. Лысенкова. Корректор Д. Эткина.

Сдано в набор 20/X 1970 г. Подписано в печать 4/II 1971 г. Бумага
типogr. № 1. 84×108¹/₃₂.— 7 п. л. печ л. 11,76 усл. печ. л. 11,655 уч.-
изд. л. Тираж 100 000 экз. Заказ 450. Цена 36 коп.

Издательство «Художественная литература»
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.

Полиграфкомбинат им. Я. Коласа. Минск, Красная, 23.

Цена 36 коп.

АГЕСЬ МАРТОВИЧ ПОДАРОК СТРИБОВА